

Э.Г.Карр



*Что
такое
история?*

Э.Г.Карр

*Что
такое
история?*



ЭДВАРД ГАЛЕТТ КАРР родился в 1892 году и получил образование в Лондонской школе Мерчант Тейлорз, колледже Тринити в Кембридже, где был стипендиатом Кравен и получил классическое образование. В 1916 году он начал работать на Форин Офис и, сменив несколько должностей на дипломатическом поприще как в стране, так и за рубежом, подал в отставку в 1936 году и стал профессором международной политики в колледже университета Уэлса в Абериствифе. С 1953 по 1955 он был ассистентом редактора Times, а в 1955 году членом колледжа Тринити в Кембридже и в 1966 — почетным членом колледжа Балиль в Оксфорде. В 1920 году он стал кавалером ордена Британской империи второй степени.

Как историк, он более всего известен своим монументальным трудом History of the Soviet Russia, о котором Guardian в свое время отозвался как об “одной из самых важных работ британских историков текущего века”, а Times назвала его “выдающимся достижением истории”. Он приступил к работе над своей History в 1945 и работал над ней почти 30 лет. Она состоит из 13 томов и резюме The Russian Revolution: Lenin to Stalin. Несколько частей History были опубликованы в серии Penguin: The Bolshevik Revolution, 1917—1923 (в трех томах); The Interregnum, 1923—1924; Socialism in One Country, 1924—1926 (в трех томах) и Foundations of a Planned Economy 1926—1929 (в двух томах, первый том — в соавторстве с Р. У. Дэйвис). Среди других публикаций автора можно назвать такие книги, как The Romantic Exiles (1933), The Twenty Years' Crisis, 1919—1939 (1939), The Soviet Impact on the Western World (1946), Conditions of Peace (1942), The New Society (1951) и From Napoleon to Stalin and other Essays (1980). Е. Г. Карр умер в 1982 году, и в своем некрологе Times писала: “Его труды были столь же пронизательными, сколь и его манера. С беспристрастием хирурга он обнажал анатомию прошлого... без всякого сомнения, он оставил глубокий след в умах последующих поколений историков и социологов”.

Р. У. ДЭЙВИС, родившийся в 1925 году, является профессором советской экономики в Центре Исследований России и Восточной Европы Бирмингемского университета, который ему довелось возглавлять в период между 1963 и 1978 гг. Выпускник Лондонского университета, он получил степень доктора философии в Бирмингемском университете. Он сотрудничал с Е. Г. Карром при работе над книгой Foundations of a Planned Economy, 1926—1929, том 1 (Penguin, 1974), и с той поры работал над многотомной историей Советской индустриализации, третий том которой, The Soviet Economy in Turmoil, появился в 1989 году. Он также являлся автором и редактором нескольких трудов в области исследования современного Советского Союза, наиболее поздний из которых называется Soviet History in the Gorbachov Revolution.

Э.Г.Карр



*Что
такое
история?*

Рассуждения о теории истории и роли историка

Алматы
"Жеті жарғы"
1997

ББК 63
К 26

Спонсором проекта является известный американский предприниматель и общественный деятель *ДЖОРДЖ СОРОС*



Карр Э.Г.

К 26 Что такое история? Рассуждения о теории истории и роли историка. Алматы: Жеті жарғы, 1997. — 208 с. — (Фонд Сорос — Казахстан).

С 1996 года Фонд Сорос — Казахстан развивает программу "Переводческий проект", цель которого — обновление системы образования путем перевода работ по гуманитарным наукам с мировых языков на русский и казахский. В концепт проекта включается выявление зарубежных источников, составление научной библиографии, перевод и издание книг по истории Казахстана и Центральной Азии, написанных зарубежными авторами.

Предлагаемая вниманию читателя книга издана в рамках "Переводческого проекта".

К $\frac{0202000000 - 075}{419 (05) - 97}$ без объявл.

ББК 63

© Е.Н. Carr, 1961.

© for the Kazak edition by Central European University Press, 1997.

© Б.Д. Джоламанова, перевод с английского, 1997.

© Б. Жапаров, художественное оформление, 1997.

ISBN 5-7667-4103-0

С о д е р ж а н и е

Введение

6

Предисловие ко второму изданию

7

1. Историк и факты, которыми он оперирует

11

2. Общество и индивидуум

38

3. История, наука и мораль

67

4. Причинные связи в истории

102

5. История как прогресс

127

6. Расширяющиеся горизонты

155

Из архивов Е.Г.Карра: заметки ко второму изданию книги

"Что такое история?" Р.У.Дэйвиса

182

Для второго издания книги "Что такое история?" Е.Г. Карр собрал огромное количество материалов, но ко времени его кончины в ноябре 1982 года было написано лишь предисловие к новому изданию.

Настоящее посмертное издание начинается с данного предисловия, за которым следует непересмотренный текст первого издания. За ним следует новая глава "Из архивов Е.Г.Карра: заметки ко второму изданию книги "Что такое история?" Р.У. Дэйвиса", в которой я попытался представить некоторые материалы и заключения, содержащиеся в архивах Карра.

Фразы из данной главы, заключенные в квадратные скобки без кавычек, были вставлены в текст мною. Я очень признателен Катрин Мерридалль за тщательную выверку ссылок Карра, и Джонатану Гасламу, и Тамаре Дойчер за их комментарии. Заметки Карра ко второму изданию данной книги будут помещены вместе с другими архивами Е.Г.Карра в библиотеке Бирмингемского университета.

Ноябрь, 1984

Р.У.Дэйвис

*Лекции в честь
George Macalay Trevelyan,
прочитанные в Кембриджском
университете
в январе — марте 1961*

Предисловие ко второму изданию

Когда в 1960 году я завершил первый вариант своих шести лекций "Что такое история?", западный мир все еще не мог оправиться от двух мировых войн и двух главных революций, русской и китайской. Эпоха Викторианства, с ее невинной самоуверенностью и автоматической верой в прогресс, осталась далеко позади. Мир стал встревоженным и даже опасным местом. Тем не менее, начали появляться признаки выздоровления. Мировой экономический кризис, повсеместно предрекаемый как последствие войны, так и не разразился. Мы спокойно распустили Британскую империю, как бы даже не заметив этого. Кризисы Венгрии и Суэца были преодолены или пережиты. Десталинизация СССР и демаккартизация США разворачивались похвальными темпами. Германия и Япония быстро возродились из руин 1945 года и демонстрировали потрясающие экономические успехи. Франция де Голля восстанавливала свои силы. В США подходила к концу эпоха упадка Эйзенхауэра и вот-вот должна была взойти заря надежды времен Кеннеди. Черные пятна – Южная Африка, Ирландия, Вьетнам – все еще могли держаться на почтительном расстоянии. Фондовые биржи всего мира процветали.

Все эти обстоятельства и послужили, по крайней мере поверхностным, оправданием той ноты оптимизма и веры в будущее, на которой я завершил свои лекции в 1961 году. Последующие 20 лет полностью развеяли эти надежды и эту веру. Холодная война возобновилась с удвоенной силой, принесла с собой угрозу ядерного уничтожения. Разразился предсказываемый ранее экономический кризис; как бы мстя за отсрочку, он разорвал развитые индустриальные государст-

ва, поражая их раковой опухолью безработицы. Едва ли найдется сейчас какая-либо страна, свободная от насилия и терроризма. Бунт нефтедобывающих стран Ближнего Востока привел к значительному перераспределению власти не в пользу развитых западных держав. “Третий мир” избавился от пассивности и стал активным и беспокойным фактором, во многом определяющим положение дел на мировой арене. В этих условиях любое проявление оптимизма казалось бы абсурдным. Все работало на пессимистов. Стала привычной картина угрожающей катастрофы, старательно вырисовываемая падкими на сенсации писателями и журналистами и распространяемая средствами массовой информации. И ранее бывшее популярным предсказание конца света стало казаться еще более уместным.

И все же здравый смысл велит сделать на сегодня две существенные оговорки. Во-первых, диагноз безнадежности будущего, хотя и подается как сделанный на основе неопровержимых фактов, является не более чем абстрактным теоретическим построением. Огромное большинство людей попросту не верят в него; и это неверие как нельзя лучше чувствуется в их поведении. Люди влюбляются, зачинают потомство, вынашивают и растят детей с неиссякаемой любовью. Огромное внимание как общества в целом, так и отдельно взятых личностей придается здоровью и образованию ради блага последующих поколений. Постоянно исследуются возможности обнаружения новых источников энергии. Новые изобретения повышают производительность труда. Миллионы и миллионы “мелких сберегателей” вкладывают свои сбережения в национальные сберегательные облигации, строительные общества и трасты. Повсеместно выражается энтузиазм сохранения национального достояния, архитектурного и художественного, опять же во благо будущих поколений. Очень велик соблазн сделать вывод о том, что вера в близкий конец света характерна лишь для группы ворчливых интеллектуалов, несущих львиную долю ответственности за ее распространенность.

Вторая моя оговорка касается географических источников этих предсказаний всеобщего конца, которые берут начало прежде всего – я бы даже сказал, исключительно – в Западной Европе и ее загранич-

ных отпрысках. И это не удивительно. На протяжении 5 веков эти страны являлись бесспорными хозяевами мира. Они могли, в какой-то мере оправданно, претендовать на положение островков цивилизации среди хаоса варварской темноты остального мира. А время, которое все более и более ставит под сомнение и опровергает такую претензию, должно обязательно вести к катастрофе. В равной степени неудивительно то, что эпицентром волнений и местом, откуда волнами распространяется наиболее глубокий интеллектуальный пессимизм, является Британия; ведь нигде больше контраст между великолепием девятнадцатого века и серостью двадцатого, между превосходством девятнадцатого и заурядностью двадцатого не носит более болезненного характера, чем здесь. Это настроение передалось Западной Европе и – в меньшей степени – Северной Америке. Все эти страны были самыми активными участниками эры великой экспансии девятнадцатого века. Но у меня нет повода подозревать, что этим настроением поражены остальные части света. Возведение непреодолимых барьеров на пути к коммуникации с одной стороны и непрерывный пропагандистский поток холодной войны с другой весьма затрудняют разумную оценку ситуации в СССР. Однако трудно поверить, что в стране, в которой подавляющее большинство населения осознает, что при всех недовольствах ситуация сегодня намного лучше ситуации, которая наблюдалась 20–30 или 100 лет назад, все охвачены страхом перед будущим. В Азии как Япония, так и Китай, каждый по-своему, устремлены в будущее. На Ближнем Востоке и в Африке, даже в самых беспокойных местах, нарождающиеся страны борются за будущее, в которое они верят, какой бы слепой эта вера ни была.

Таким образом, я прихожу к заключению, что волна скептицизма и отчаяния, захлестывающая нас сегодня, на гребне которой нет веры ни во что, кроме разрушения и уничтожения, и считаются абсурдными надежды на прогресс человечества в будущем, является проявлением своего рода элитизма – продуктом элитных социальных групп, безопасность и привилегии которых пострадали в ходе кризиса более всего, и элитных стран, чье бесспорное верховенство над другими резко пошатнулось. Основные знаменосцы этого движения – это

интеллектуалы, поставщики идей правящей социальной группы, интересам которой они служат (“Идеи общества есть идеи его правящего класса”). И при этом неважно, что некоторые из этих интеллектуалов когда-то принадлежали другому классу или социальной группе; став интеллектуалами, они автоматически ассимилируются в среде интеллектуальной элиты. Интеллектуалы, по определению, формируют элитную группу.

Что однако более важно в современных условиях, так это факт, что все группы общества, как бы тесно они ни были взаимосвязаны (как вполне оправданно считают историки), отторгают от себя некоторое количество изгоев или диссидентов. Особенно часто это случается среди интеллектуалов. Я не имею в виду рутинные аргументы, выдвигаемые в среде интеллектуалов в спорах по поводу общей приемлемости основных исходных предпосылок во взглядах на общество, я ставлю под сомнение сами эти предпосылки. В западных демократических обществах такое сомнение приемлемо, если оно ограничивается горсткой диссидентов, которые могут найти своего читателя и свою аудиторию. Циник мог бы возразить, что с ними мирятся, потому что их немного и они не настолько влиятельны, чтобы оказаться опасными. Более чем сорок лет я носил ярлык “интеллектуала”; и в последние годы я все больше и больше воспринимаю себя и воспринимаюсь обществом как интеллектуальный диссидент. Объяснение этому готово. Я, должно быть, являюсь одним из тех немногих пишущих интеллектуалов, возвращенных не в зените, а на закате великой эпохи Викторианства — эпохи веры и оптимизма, и даже сегодня мне трудно рассуждать в ключе вечного и непоправимого упадка мира. На последующих страницах я постараюсь дистанцироваться от преобладающих направлений западного интеллектуализма, а особенно от тех, что получили распространение в этой стране, чтобы показать, как и почему я пришел к мысли о том, что они движутся в неверном направлении, и выдвигаю тезис о необходимости если не более оптимистичного, то более здравого и более сбалансированного взгляда на будущее.

I. Историк и факты, которыми он оперирует

Что такое история? Чтобы читатель не счел этот вопрос бессмысленным или излишним, приведу в своем тексте два отрывка, взятые соответственно из первого и второго издания *Cambridge Modern History*. Вот что пишет Актон в своем отчете от октября 1896 года издательству *Cambridge University Press* относительно редактируемой им работы:

"Это уникальная возможность запечатления на бумаге способом, наиболее полезным для огромного числа людей, всей полноты знаний, которые будут унаследованы от девятнадцатого века... Разумно распределив между собой бремя этой задачи, мы сумеем справиться с ней и довести до сведения каждого человека этот последний документ и самые зрелые достижения международных исследований.

Данное поколение не может являться вершителем конечной истории; но теперь, при наличии всей необходимой информации и возможностей разрешения любой проблемы, имея в своем распоряжении конвенциональную историю, можно определить тот пункт, которого мы достигли на разделяющем их пути". [*The Cambridge Modern History: its Origin, Authorship and Production (1907)*, с. 10—12].

Спустя ровно 60 лет профессор сэра Джордж Кларк в своем общем введении ко второму изданию *Cambridge Modern History*,

комментируя убежденность Актона и его соратников в возможности создания в один прекрасный день “конечной истории”, утверждает:

“Историков более поздних поколений подобная перспектива не прельщает. Они готовы к тому, что их труды будут пересматриваться снова и снова. Они считают, что знания прошлого прошли через сознание одного или некоторого множества человек и были обработаны и потому не могут состоять из не поддающихся никаким изменениям элементарных безличных атомов... Исследование представляется бесконечным, и некоторые нетерпеливые ученые находят прибежище в скептицизме или, по меньшей мере, в доктрине, суть которой сводится к следующему: поскольку все исторические суждения принадлежат лицам и являются их точками зрения, в равной степени имеющими право на существование, нет и не может быть объективной исторической правды” [*The New Cambridge Modern History, i (1957) с.хxiv-ххv*].

Там, где мнения ученых мужей настолько противоречивы, открывается широкое поле деятельности для исследователей. Я, надеюсь, достаточно современен для того, чтобы признать все написанное в 90-х годах прошлого века утратившим смысл. И все же я не настолько прогрессивен, чтобы придерживаться мнения о том, что все написанное в 50-х годах нынешнего века обязательно имеет смысл. В самом деле, вам уже наверное пришло в голову, что это исследование выходит за рамки изучения природы истории. Столкновение взглядов Актона и сэра Джорджа Кларка является отражением перемен в нашем общем взгляде на общество, произошедших в период между этими двумя высказываниями. Актон говорит с позиций позитивной веры, ясной самоуверенности эпохи позднего Викторианства; во взглядах сэра Джорджа Кларка отражается замешательство и смятенный скеп-

тицизм разбитого поколения. Когда мы пытаемся ответить на вопрос “Что такое история?”, наш ответ, вольно или невольно, отражает наше собственное положение во времени и формирует часть нашего ответа на более общий вопрос относительно взглядов на общество, в котором мы живем. Я не опасаясь того, что мой предмет может, при более близком рассмотрении, показаться тривиальным. Я лишь боюсь показаться чересчур самоуверенным, подняв столь обширный и столь важный вопрос.

Деятнадцатый век был великим в смысле фактов. “Чего я хочу, — сказал г-н Грэдграинд в “Hard Times”, — так это фактов... В жизни нужны лишь факты”. В целом историки девятнадцатого века с ним согласны. Когда Ранке в 30-х гг. прошлого века в знак законного протеста против морализаторства в истории заметил, что задачей историка является “лишь показать, как это было на самом деле” (*wie es eigentlich gewesen*), этот не очень глубокомысленный афоризм имел поразительный успех. Три поколения немецких, британских и даже французских историков маршировали, скандируя эти магические слова, задуманные, как и большинство лозунгов, для того, чтобы избавить людей от обременительной обязанности думать самим. Позитивисты, озабоченные желанием выставить на всеобщее обозрение свой взгляд на историю как науку, своим авторитетом лишь укрепили этот культ фактов. Сначала удостоверься в фактах, говорили позитивисты, затем делай свои заключения о них. В Великобритании этот взгляд на историю отлично укладывался в рамки эмпиризма, доминирующего в британской философии от Локка до Бертрана Рассела. Эмпирическая теория знания предполагает полное отделение субъекта от объекта. Факты, как и чувственные ощущения, приходят к исследователю извне и независимы от его сознания. Процесс восприятия пассивен: получив данные, он затем действует исходя из них. Краткий Оксфордский сло-

варь английского языка, полезное, но претенциозное произведение школы эмпиризма, четко оговаривает отдельность этих двух процессов, определяя факт как “данное из опыта, в отличие от выводов”. Это как раз и может называться здравым взглядом на историю. История состоит из набора достоверных фактов. Историк извлекает факты из документов, надписей и пр., как рыбак рыбу. Историк собирает их, приносит их домой, готовит и подает их к столу таким образом, как ему больше нравится. Актон, чьи кулинарные наклонности были спартанскими, желал, чтобы их подавали к столу просто. В своем письме-инструкции авторам первого издания *Cambridge Modern History* он выдвигает такое требование: “Наш Ватерлоо должен быть в равной степени приемлемым для французов и англичан, немцев и датчан; никто не должен сказать, не сверившись со списком авторов, чьи строки принадлежат Архиепископу Оксфордскому, чьи — Фэберну или Гаскету, Либерману или Харрисону” (*Acton, Lectures on Modern History (1906), с.318*). Даже сэр Джордж Кларк, при всей критичности его отношения к позиции Актона, сам противопоставил “косточки фактов” истории “окружающей мякоти спорных интерпретаций” [*Цит. по Listener, от 19 июня 1952, с. 992*], забывая, вероятно, о том, что мякоть фруктов намного более приятна на вкус, чем их косточки. Сначала разберитесь с фактами, затем погружайтесь на свой страх и риск в зыбкие пески интерпретации — такова конечная мудрость эмпирической, здравомыслящей школы истории. Это созвучно любимому изречению великого журналиста-либерала С. П. Скотта: “Факты святы, мнение свободно”.

Сегодня такой подход явно не годится. Я не буду погружаться в философские рассуждения о природе нашего знания прошлого. Давайте допустим, что тот факт, что Цезарь перешел Рубикон и что стол находится посередине комнаты, являются фак-

тами одного или сопоставимого порядка, что оба эти факта проникают в наше сознание тем же самым или аналогичным образом и что оба они обладают одной и той же объективной характеристикой по отношению к лицу, знающему о них. Но, даже базируясь на таких смелых и правдоподобных посылах, наш аргумент немедленно сталкивается с той трудностью, что не все факты прошлого являются историческими или рассматриваются историками в качестве таковых. Каковы критерии отграничения исторических фактов от иных фактов прошлого?

Что такое исторический факт? Это решающий вопрос, требующий более пристального внимания. С точки зрения здравого смысла имеются определенные базовые факты, одни и те же для всех историков, которые формируют, так сказать, костяк истории — например, что битва при Хейстингсе имела место в 1066 году. Но такая точка зрения вызывает два замечания. Во-первых, не такого рода факты прежде всего заботят историков. Несомненно, очень важно знать, что великая битва произошла в 1066, а не в 1065 или 1067 году, и что она имела место при Хейстингсе, а не при Истбурне или Брайтоне. Историк должен иметь точные данные о такого рода вещах. Но, когда возникают вопросы такого характера, мне вспоминается замечание Гусмана о том, что “точность является обязанностью, а не добродетелью” [*M. Manilii Astronomicon: Liber Primus (изд. 2. 1937), с. 87*]. Хвалить историка за его точность — все равно, что хвалить архитектора за то, что он использует при строительстве хорошо выдержанный лес или должным образом смешанный цемент. Это необходимое условие его работы, но не его существенная функция. Именно в делах такого рода историк вправе полагаться на то, что называлось “вспомогательными науками” истории — археологию, эпиграфику, нумизматику, хронологию и т.д. Историк не должен иметь особых навыков, которые требуются от экспертов

для определения происхождения и возраста фрагмента керамики или гранита, расшифровки нечеткой надписи или проведения астрономических подсчетов, которые нужны при определении точной даты. Эти так называемые базовые факты, которые являются одними и теми же для всех историков, как правило, относятся к категории сырых материалов историка, а не собственно истории. Второе замечание сводится к тому, что необходимость установления таких базовых фактов проистекает не столько из качества самих фактов, сколько из априорного решения самого историка. Несмотря на лозунг С.П. Скотта, каждый журналист сегодня знает, что наиболее эффективным способом формирования мнения является подбор и расстановка соответствующих фактов. Принято было считать, что факты говорят сами за себя. Это, конечно, неправда. Факты говорят лишь тогда, когда историк апеллирует к ним: именно он решает, какие именно факты приводить и в какой последовательности, в каком контексте. Кажется, один из персонажей Пиранделло сказал, что факт — как мешок, он не встанет до тех пор, пока не наполнишь его чем-либо. Единственная причина, по которой мы интересуемся тем, что битва состоялась при Хейстингсе в 1066 году, — это то, что историки рассматривают этот факт как решающее историческое событие. Именно историк решил, по каким-то своим соображениям, что пересечение Цезарем того неглубокого ручья, Рубикона, является историческим фактом, в то время как пересечение Рубикона миллионами других людей до или после Цезаря не интересует абсолютно никого. Тот факт, что вы прибыли в здание полчаса назад пешком, или на велосипеде, или в автомобиле, является фактом прошлого в той же самой мере, как и то, что Цезарь пересек Рубикон. Но он скорее всего будет проигнорирован историками. Профессор Талькотт Парсонс как-то назвал науку “избирательной системой когнитивных ориентаций в ре-

альном мире” [T.Parsons and E.Shils, *Towards a General Theory of Action* (изд.3, 1954), с.167]. Это, наверное, можно было бы сказать и проще. Но история, среди прочего, является как раз такой системой. Историк неизбежно избирателен в своем подходе к материалу. Вера в ядро исторических фактов, существующих объективно и независимо от интерпретации историка, есть не более, чем нелепое заблуждение, но его очень трудно искоренить.

Давайте проследим процесс, в ходе которого обычный факт прошлого становится фактом истории. В 1850 году в Стейлбридж Уэйкс в результате мелкой стычки разъяренная толпа совершила преднамеренное убийство уличного продавца имбирных пряников. Есть ли это факт истории? Год назад я не колеблясь ответил бы “нет”. Он был записан очевидцем в каких-то малоизвестных мемуарах [Lord George Sanger, *Seventy Years a Showman* (изд.2, 1926), с.188–189], но мне никогда не доводилось встречать упоминания о нем в трудах какого-либо историка. Год назад д-р Китсон Кларк привел этот факт в своих Фордовских лекциях в Оксфорде [Dr.Kitson Clark, *The Making of Victorian England* (1962)]. Превращает ли это данное событие в исторический факт? Думаю, что нет. В настоящее время это событие как бы рекомендовано в качестве члена избранного клуба исторических фактов и сейчас как бы ждет поддержки и спонсоров. Возможно, на протяжении нескольких лет мы увидим этот факт сначала в примечаниях, затем в тексте статей и книг об Англии девятнадцатого века и, возможно, через лет 20—30 это событие станет прочно установленным историческим фактом. Или же никто на него ссылаться не будет, и в этом случае он опять канет в небытие исторических фактов из прошлого, из которого д-р Китсон Кларк галантно попытался его извлечь. Что окажется решающим в определении его судьбы? Я полагаю, это будет зависеть от того, насколько веским и значимым окажется тезис, в поддержку кото-

рого он был приведен д-ром Кларком, в глазах других историков. Приобретение им статуса исторического факта станет вопросом интерпретации. Этот элемент интерпретации является компонентом всякого факта истории.

Позволю себе личное воспоминание. Когда много лет назад я изучал древнюю историю в этом университете, я проходил специальный предмет “Греция в период Персидских Войн”. Я собрал на своих полках пятнадцать — двадцать томов и считал само собой разумеющимся, что в этих томах отражены все факты относительно данного предмета. Давайте предположим — и это предположение будет недалеким от истины — что те тома содержали все известные на тот момент факты. Мне и в голову не приходил вопрос, в результате какого случая или отсева этот скрупулезный набор из всего множества известных кому-то фактов остался в анналах истории. Я подозреваю, что даже сегодня очарование истории древних и средних веков создает у нас иллюзию того, что мы располагаем всеми фактами обозримого прошлого: обременительное различие между фактами истории и другими фактами из прошлого исчезает, потому что все те известные на сегодня немногочисленные факты прошлого являются фактами истории. Как сказал Бури, работавший в области как той, так и другой истории, “исторические записи о древних и средних веках пестрят лакунами” [*J.B.Bury, Selected Essays (1930), с. 52*]. Историю как-то называли огромной головоломкой со множеством недостающих частей. Но основная проблема заключается не в лакунах. Наша картина Греции пятого века до нашей эры дефектна не столько потому, что многие кусочки этой головоломки были случайно утеряны, сколько потому, что она была нарисована горсткой людей из города Афины. Мы знаем много о том, как выглядели Афины того времени в глазах гражданина этого города; но почти не имеем сведений об Афинах глазами жителя

Спарты, Коринфа, Тебана, не говоря уже о персах, или рабах, или неграждан Афин. Эта картина была predetermined и препарирована для нас не столько случаем, сколько людьми, вольно или невольно предубежденными в своем подходе к отбору заслуживающих внимания фактов. Точно также, когда я читаю в современной истории средних веков, что люди средневековья были глубоко религиозны, у меня возникает вопрос: а откуда это известно, и насколько правдива эта информация. Почти все из того, что преподносится нам как факты из средних веков, прошло через сито отбора многими хроникерами, профессионально занимающимися как теорией, так и практикой религии и потому считающими ее чрезвычайно важной и, как следствие этого, записывающими все, что касалось религии, и ничего более. Мнение о глубокой религиозности русского крестьянина было уничтожено революцией 17 года. Картину глубокой религиозности средневекового человека, правдивая она или нет, уничтожить нельзя, потому что почти все известные нам факты были отобраны людьми, которые верили в это и хотели, чтобы в это верили и другие, а масса других фактов, среди которых мы могли бы найти опровержение этому утверждению, была безвозвратно утеряна. Мертвая рука исчезнувших поколений историков, писцов и летописцев определила структуру прошлого, не оставляя нам шанса на апелляцию. “История, которую мы читаем, — пишет профессор Барраклау, сам специализирующийся на средних веках, — хотя и построена на фактах, строго говоря, базируется не на фактах, а на предвзятых суждениях” [*G. Barraclough, History in the Changing World (1955), c.14*].

Давайте обратимся к другой, но столь же серьезной проблеме, которая стоит перед современным историком. Историк древних и средних веков может быть благодарен за широкий по своему размаху многовековой процесс просеивания, который предо-

ставил в его распоряжение управляемый набор исторических фактов. Как сказал Литтон Страче в своей привычно лукавой манере, “неведение есть первый атрибут историка, неведение упрощающее и проясняющее, избирательное и умалчивающее” [*Lytton Strachey, Preface to Eminent Victorians*]. Когда передо мной иногда встает искушение позавидовать превосходной компетентности коллег, занимающихся древней или средней историей, я нахожу утешение в мысли, что они компетентны главным образом благодаря своему совершенному незнанию своего предмета. Историк современности такого преимущества глубокого неведения не имеет. Он вынужден культивировать это столь необходимое невежество — и тем больше, чем ближе он подходит к исследованию своего времени. Перед ним стоит двойная задача обнаружения немногих значимых фактов, преобразования их в факты истории и отбрасывания того множества незначительных фактов, которые он считает неисторическими. Но это прямо противоречит ереси девятнадцатого века, что история состоит из максимального набора неопровержимых и объективных фактов. Любой, кто поддается этой ереси, должен бросить заниматься историей и заняться коллекционированием марок или иной антикварной деятельностью, либо он закончит свои дни в сумасшедшем доме. Именно эта ересь оказала такое пагубное воздействие на современных историков, создающих в Германии, Великобритании и США огромное и все нарастающее количество сухих фактологических историй, узкоспециальных монографий будущих историков, узнающих все больше и больше о все меньшем и меньшем, которые бесследно тонут в океане фактов. Я подозреваю, что именно эта ересь — а не так называемый конфликт между либеральной и католической верами — так обескураживала Актона как историка. В одном из своих ранних эссе он сказал о своем учителе Доллингере: “Он не согласился бы пи-

сать на основе несовершенного материала, а ему все материалы всегда казались несовершенными” [Цитируется по G.P.Gooch, *History and Historians in the Nineteenth Century*, с.385; позже Актон сказал о Доллингере, что “ему было дано сформировать свою философию истории на самом большом индуктивном материале, который когда-либо был доступен человеку (*History of Freedom and Other Essays*, 1907, с. 435)]. Здесь Актон безусловно выносил загодя вердикт самому себе, тому странному феномену историка, которого многие будут рассматривать как наиболее выдающегося главу кафедры современной истории данного университета, который сам не писал историй. Свою эпитафию Актон написал в предисловии к первому тому *Cambridge Modern History*, опубликованной сразу же после его смерти, когда он сокрушался по поводу того факта, что довлеющие над историками требования “чреваты тем, что из литературного автора он превратится в составителя энциклопедий” [*Cambridge Modern History*, i, (1902), с.4]. Что-то произошло не так. А этим “что-то” была вера в это неиссякаемое и нескончаемое аккумулятивное фактов как основы истории, вера в то, что факты говорят сами за себя и что мы не вправе иметь слишком много фактов, вера, иногда принимаемая настолько аксиоматично, что совсем немного историков прошлого да и нынешнего времени считали и считают необходимым задаваться вопросом “Что такое история?”.

Фетишизм фактов девятнадцатого века дополнен и оправдан фетишизмом документов. Документы были аркой соглашения в соборе фактов. Почтенный историк стоял перед ними, обнажив голову, и говорил о них с благоговением. Если вы находите это в документах, это правда. Но, если задуматься, что говорят нам все эти документы: указы, договоры, арендные свитки, голубые книги, официальная переписка, частные письма и дневники? Ни один документ не может дать нам больше, чем хотел передать

нам его автор — о том, что, по его мнению, случилось, что, по его мнению, должно случиться, или, возможно, о том, что он хотел, чтобы думали другие, или даже лишь то, что он сам думал по поводу своего мнения. Все это бессмысленно до тех пор, пока историк не поработает над ним и не расшифрует его. Факты, как отраженные в документах, так и неотраженные, должны быть обработаны историком прежде, чем он их использует: использование фактов, если я могу так выразиться, и есть процесс обработки.

Позвольте проиллюстрировать то, что я пытаюсь сказать, хорошо знакомым мне примером. Когда Густав Стресеманн, министр иностранных дел Веймарской Республики, умер в 1929 году, он оставил после себя огромное количество — 300 заполненных доверху коробок — бумаг, официальных, полуофициальных и личных, почти все из которых относились к тем 6 годам его пребывания на посту министра иностранных дел. Его друзья и родственники, естественно, считали, что в память о таком великом человеке нужно поставить памятник. Его верному секретарю Бернарду пришлось поработать; и в течение трех лет вышли в свет 3 внушительных тома, по 600 страниц каждый, избранных документов из тех 300 коробок, под впечатляющим названием *Stresemanns Vermächtnis*. При нормальном ходе событий эти документы пылились бы в каком-нибудь чулане и исчезли навсегда; или, вероятно, столетие спустя какой-нибудь любопытный историк наткнулся бы на них и сравнил бы с текстами Бернарда. На деле же произошло нечто гораздо более драматичное. В 1945 году документы попали в руки британского и американского правительств, которые сфотографировали их и предоставили фотокопии в распоряжение ученых Офиса публичных документов в Лондоне и Национального архива в Вашингтоне; таким образом, запасшись терпением и любопытством, мы могли точно определить, что же сделал Бернард. А в том, что он сделал, не было

ничего удивительного или шокирующего. Когда умер Стресеманн, его политика в отношении Запада, казалось, была увенчана серией блестящих успехов — Локарно, принятие Германии в Лигу Наций, планы Дауса и Янга, американские займы, вывод союзнических оккупационных войск из Ринеленда. Это представлялось важной и закономерной частью политического курса Стресеманна; и не нахожу ничего неестественного в том, что эти победы получили преимущественное освещение в подборке документов Бернардом. Политика Стресеманна в отношении Востока и, в частности, Советского Союза, напротив, не принесла сколько-нибудь существенных результатов; и поскольку масса документов о тривиальных по своей результативности переговорах не представляла особого интереса и не прибавляла ничего к репутации Стресеманна, процесс отбора мог быть более строгим. На деле же Стресеманн уделял намного больше внимания отношениям с Советским Союзом, чем это можно заключить из выборки Бернарда. Я подозреваю, что составленные Бернардом тома более надежны, чем многие другие опубликованные сборники документов, на которые обычно полагаются рядовые историки.

И это еще не все. Сразу после того, как тома Бернарда увидели свет, к власти пришел Гитлер. В Германии имя Стресеманна было предано забвению, и тома исчезли из продажи; многие из них, если не большинство, должно быть, были уничтожены. Сегодня *Strecemanns Vermächtnis* является довольно редкой книгой. Однако на Западе репутация Стресеманна была довольно высокой. В 1935 году английский издатель выпустил сокращенный вариант работы Бернарда — избранное из избранного Бернардом; было пропущено около одной трети оригинала. Саттон, хорошо известный переводчик с немецкого, сделал свое дело компетентно и качественно. Английский вариант, как он объяснил

в предисловии, “был лишь слегка компрессирован... главным образом за счет сокращения материала так сказать эфемерного характера... представляющего незначительный интерес для английского читателя или студентов” [Gustav Stresemann, His Diaries, Letters and Papers, i, (1935). *Примечание редактора*]. Это опять же, естественно. Но в результате этого восточный политический курс Стресеманна, и до этого представленный в сборнике Бернарда недостаточно полно, пострадал в этом плане еще более, и Советский Союз предстает в томах Саттона случайным и нежелательным элементом ориентированной преимущественно на Запад политики Стресеманна. И все же можно с уверенностью сказать, что для многих специалистов, за редким исключением, именно Саттон, а не Бернард — и еще в меньшей степени собственно оригинальные документы — представляет в глазах западного мира подлинный голос Стресеманна. Даже если бы документы были уничтожены в 1945 году во время бомбежки, равно как и оставшиеся тома Бернарда, аутентичность и авторитет Саттона никем бы не ставились под сомнение. Многие опубликованные сборники документов, с благодарностью принимаемые историками в отсутствие оригинала, не базируются на более надежном основании, чем эти.

Я хотел бы продолжить этот рассказ далее. Давайте забудем о Бернарде и Саттоне и будем благодарны за то, что мы при желании можем свериться с аутентичными документами ведущего участника некоторых важных событий современной истории Европы. Что же говорят нам эти документы? Среди прочего, они содержат записи сотен бесед Стресеманна с послом СССР в Берлине, как и многих переговоров с Чичериным. Эти записи объединяет одна общая черта. Они описывают Стресеманна как доминирующего собеседника и представляют выдвигаемые им аргументы неизменно хорошо сформулированными и убедитель-

ными, в то время как реплики его партнеров большей частью скудны, запутаны и неубедительны. Это характерная черта всех записей дипломатических бесед. Эти документы говорят не о том, что случилось на самом деле, но о том, как представляет случившееся сам Стресеманн, или каким он хочет, чтобы случившееся воспринимали другие, или как он сам хотел бы воспринимать случившееся. Процесс отбора был начат не Бернардом или Саттоном, а самим Стресеманном. И если бы мы располагали записями, скажем, Чичерина о тех же самых беседах, мы равным образом узнали бы из них о восприятии случившегося самим Чичериным, а историкам все равно пришлось бы реконструировать полную картину. Конечно, факты и документы весьма существенны для историка. Но не делайте из них фетиша. Сами по себе они не составляют историю; сами по себе они не предоставляют готового ответа на этот надоедливый вопрос: “Что такое история?”.

Здесь я хотел бы сказать несколько слов о том, почему историки девятнадцатого века были в целом равнодушны к философии истории. Этот термин был придуман Вольтером, и с тех пор употреблялся в самых различных смыслах; но в моем представлении он означает ответ на приводимый выше вопрос. Для интеллектуалов Западной Европы девятнадцатый век был комфортабельным периодом, источающим уверенность и оптимизм. Факты в целом были удовлетворительными; и склонность задавать корявые вопросы и давать неуклюжие ответы на такие вопросы выражалась, соответственно, очень слабо. Ранке набожно верил в то, что божественное провидение позаботится о смысле истории, если он позаботится о фактах; а Буркхардт, с налетом более современного цинизма, заметил, что “нас не посвятили в предназначение вечной мудрости”. Профессор Батерфилд уже в 1931 году отметил с явным удовлетворением, что “историки мало

задумывались о природе вещей, и даже о природе своего собственного предмета” [*H.Butterfield, The Whig Interpretation of History (1931), с. 67*]. Однако, мой предшественник по этим лекциям, д-р А.Л. Роуз с более оправданной критичностью писал о книге сэра Уинстона Черчилля *The World Crisis* о первой мировой войне, что, соответствуя "Истории русской революции" Троцкого в плане яркости, жизненности и в личностном плане, она уступает последней в одном отношении: “за ней не стоит философия истории” [*A.L.Rowse, The End of an Epoch (1947), с. 282–283*]. Британские историки отказывались рассуждать о философии истории не потому, что считали историю бессмысленной, а потому, что ее смысл был скрытым и самоочевидным. Либерализм взглядов на историю, характерный для девятнадцатого века, был сродни экономической доктрине *laissez-faire*, также являющейся продуктом миросозерцательного и самоуверенного мировоззрения. Пусть каждый делает свое дело, а некая скрытая рука позаботится о всеобщей гармонии. Факты истории были сами по себе демонстрацией высшего факта благотворного и явно бесконечного прогресса к вещам более высокого порядка. Это была эпоха невинности, и историки гуляли по садам Эдема без клочка философии на своем теле, голые и бесстыдные перед богом истории. С тех пор мы познали грех и падение; и те историки, которые сегодня притворяются, что могут обходиться без философии истории, лишь пытаются, робко и безуспешно, как члены нудистского клуба, воссоздать в своем закутке бытия сады Эдема. Сегодня этого неуклюжего вопроса никак не избежать.

За последние пятьдесят лет был проделан серьезный объем работы, направленной на поиски ответа на вопрос “Что такое история?”. Первый вызов доктрине первичности и автономности исторических фактов был сделан в 1880—1890 гг. в Германии, стране, сделавшей так много для свержения комфортабельного

либерализма девятнадцатого века. От философов, бросивших ей вызов, осталось едва ли больше, чем их имена: Дилти — единственный из них, получивший запоздалое признание в Великобритании. До окончания века эта страна была все еще настолько процветающей и уверенной, что могла не обращать внимания на еретиков, атакующих культ фактов. Но в самом начале нового века факел был передан Италии, где Кроче начал проповедовать философию истории, в которой было очень много от идей германских мастеров. “*Вся история есть современная история*”, — заявлял Кроче [*Этот знаменитый афоризм приводится в следующем контексте: “Практические требования к каждому историческому суждению придают всей истории характер “современной истории”, поскольку, какими бы отдаленными во времени пересказываемые таким образом события ни были, в реальности история соотносится с сегодняшними нуждами и сегодняшними ситуациями, в рамках которых эти события вибрируют” (B.Croce, History as the Story of Liberty, перевод на англ., 1941, с.19)*], имея в виду, что история состоит главным образом в видении прошлого глазами и в свете проблем современности и что основная задача историка — не вести записи, а давать оценку; ведь, если он не дает никакой оценки, как он определит, что стоит, а что не стоит записывать? В 1910 году американский историк Карл Беккер спорил в намеренно провокационной манере, что “факты истории не существуют для историка до тех пор, пока он не создаст их” [*Atlantic Monthly, октябрь 1910, с.528*]. Какое-то время этот вызывающий подход оставался незамеченным. Лишь после 1920 года Кроче начал входить в моду во Франции и Великобритании. Это случилось скорее всего не потому, что Кроче был более тонким мыслителем или лучшим стилистом, чем его немецкие предшественники, но потому, что после первой мировой войны факты повернулись к нам менее

благожелательной стороной, чем это было до 1914 года, и посему мы стали более восприимчивы к философии, стремящейся уменьшить их престиж. Кроче оказал серьезное воздействие на оксфордского философа и историка Колингвуда, единственного британского мыслителя нынешнего тысячелетия, который сделал значительный вклад в философию истории. Ему не довелось закончить то системное исследование, которое он планировал; но все его опубликованные и неопубликованные работы по данному предмету были собраны после его смерти в книге, озаглавленной *The Idea of History*, которая увидела свет в 1945 году.

Взгляды Колингвуда можно суммировать следующим образом. Философия истории не занимается ни “собственно прошлым”, ни “мыслями историка о собственно истории”, она занимается “и тем и другим в их тесной взаимосвязи” (Это высказывание отражает два современных значения слова “история” — как исследование, проводимое историками, и как серию событий прошлого, которую он исследует). “Прошлое, которое изучает историк, не есть мертвое прошлое, но такое прошлое, которое в некотором смысле все еще живет в настоящем”. Но прошлое действительно мертво, то есть бессмысленно для историка до тех пор, пока он не поймет, что лежит за ним. Отсюда “вся история есть история мысли”, “история оживления в сознании историка той мысли, чью историю он исследует”. Реконструирование прошлого в сознании историка зависит от эмпирических доказательств. Но сама по себе история не есть эмпирический процесс и не может сводиться лишь к перечислению фактов. Напротив, процесс реконструкции управляет отбором и интерпретацией фактов; это и в самом деле есть процесс превращения фактов прошлого в исторические факты. “История, — утверждает профессор Окшотт, который в этом отношении бли-

зок Колингвуду, — это опыт историка. Она не делается никем, кроме историка: писать историю — это единственный способ делать ее” [*M. Oakeshott, Experience and Its Modes (1933), с. 99*].

Эта глубокая критика, хотя и нуждающаяся в серьезных оговорках, выводит на свет ряд забытых истин.

Во-первых, факты истории никогда не приходят к нам “чистыми”, поскольку они не существуют и не могут существовать в чистой форме: они всегда есть отражение видения записывающего их. Отсюда следует, что, взяв в руки тот или иной исторический труд, нас будут прежде всего заботить не содержащиеся в ней факты, а историк, написавший этот труд. Возьмем к примеру великого историка, в чью честь задуманы и чьим именем названы эти лекции. Г.М. Тревельян, как он пишет в своей автобиографии, “был воспитан дома в несколько чрезмерно виговской манере” [*G.M. Trevelyan, An Autobiography (1949), с.11*]; и, я думаю, он не опровергнет мое описание его как последнего, но не самого маловажного из великих английских либеральных историков виговского толка. Не случайно он отслеживает свое фамильное древо от великого виговского историка Джорджа Отто Тревельяна до Макалея, самого великого из всех виговских историков. Самая прекрасная и зрелая работа Тревельяна *England under Queen Anne* была написана именно на этом фоне, и лишь ознакомление с фоном позволит читателю осознать во всей полноте весь смысл и всю значимость этой работы. Автор и в самом деле не оставляет читателю возможности не осознать это. Если, используя прием любителей детективного жанра, прочитать сначала конец, на последних страницах третьего тома вы обнаружите самое лучшее из всех известных мне резюме того, что сегодня называется виговской интерпретацией истории; и вы убедитесь, что то, что Тревельян пытается сделать, — это изучить происхождение традиции вигов и объективно проследить ход ее разви-

тия после смерти ее основателя Уильяма III. Хотя я и допускаю, что это не единственно возможная интерпретация событий времен царствования королевы Анны, это вполне надежная и, в руках Тревелияна, плодотворная попытка такой интерпретации. И все же, чтобы оценить ее в полной мере, необходимо понимать то, что делает историк. Как и историк, обязанный, по словам Коллингвуда, восстановить в уме ход мыслей действующих лиц, так и читатель в свою очередь должен проследить ход мыслей историка. Изучите историка прежде, чем приступать к изучению фактов. В конце концов, это не так уж и трудно. Это как раз то, что делает мыслящий студент, когда ему рекомендуют прочесть работу великого ученого Джонса из Святой Джуды, он идет к другу в Святой Джуде и узнает, что за парень этот Джонс и какие “пчелы гудят у него под шляпой” (какие у него причуды). Читая историческую работу, всегда прислушивайтесь к такому гудению. Если вам не удастся распознать никакого гуда, то это означает, что либо вы глухи на этот счет, либо ваш историк очень большая зануда. Факты — это совсем не то, что рыба на столике рыбороторовца. Это скорее рыба, плавающая в огромном, иногда недоступном океане; и улов историка зависит отчасти от удачи, но главным образом от того, какую часть океана он выбирает для рыбной ловли и какую снасть он предпочитает использовать — эти два фактора, конечно же, определяются типом рыбы, какую он хочет поймать. Вообще говоря, историк всегда может заполучить те факты, которые ему нужны. История есть интерпретация. В самом деле, если, поставив сэра Джорджа Кларка на голову, я бы назвал историю “ядром интерпретации, окруженным мякотью спорных фактов”, мое утверждение было бы односторонним и вводящим в заблуждение, но не более, чем первоначальное, перефразированное.

Вторым пунктом является знакомая каждому историку потребность в воображении при понимании образа мыслей людей, с которыми он имеет дело, тех идей, которые стоят за их действиями: я говорю о воображении и понимании, а не о сочувствии, поскольку сочувствие подразумевает согласие. Деятнадцатый век был слаб в средневековой истории, поскольку его слишком отталкивало суеверие средних веков и те варварства, на которые оно толкало людей того времени, чтобы он мог с воображением понимать их. Или возьмите, к примеру, придирчивое замечание Беркхардта о Тридцатилетней войне: “Для любой веры, будь то католическая или протестантская, скандално ставить свое спасение над целостностью нации” [*J. Burckhardt, Judgements on History and Historians (1959), с.179*]. Либеральному историку девятнадцатого века, воспитанному на вере в то, что правильно и похвально убивать ради защиты своей страны, но порочно и неверно убивать ради своей религии, было чрезвычайно трудно прийти к пониманию состояния души тех, кто воевал в Тридцатилетней войне. Эта трудность проявлялась особенно остро в той области, в которой я работаю сейчас. Многие из написанного в англоговорящих странах в последнее десятилетие о Советском Союзе и в Советском Союзе об англоговорящих странах было испорчено этой неспособностью достичь хотя бы элементарного уровня понимания с воображением образа мыслей противной стороны настолько, что слова и действия такой стороны всегда подавались как клевета, бессмыслица или лицемерие. Нельзя писать историю, не установив контакта с умами тех, о ком пишешь.

Третий пункт заключается в том, что мы можем рассматривать прошлое и приходиться к своему пониманию его сути только через призму сегодняшнего дня. Историк принадлежит своему времени и привязан к нему условиями человеческого бытия. Даже

сами слова, которыми он пользуется, как-то: демократия, империя, война, революция — имеют коннотацию дня сегодняшнего, от которой он не может их избавить. Историки любили использовать такие слова, как полис, плебс в оригинале просто для того, чтобы показать, что они избегли этой ловушки. Но это им не помогло. Они тоже жили в настоящем и не могли обманываться попаданием в прошлое путем использования незнакомых или устарелых слов, точно так же, как им не удалось бы стать в большей степени греческими или римскими историками, облачившись в хламиду или тогу. Слова, которыми поколения за поколениями французских историков называли парижскую толпу, сыгравшую столь исключительную роль во Французской революции — *les sans-culottes, le peuple, la canaille, le bras-nus* — в глазах тех, кто знает правила игры, служат проявлением политической принадлежности и той или иной интерпретации. И все же историк всегда стоит перед выбором: язык не позволяет ему быть нейтральным. К тому же, это не сводится лишь к словам. За прошедшие сто лет изменение баланса власти в Европе в корне изменило отношение британских историков к Фредерику Великому. Изменение расстановки сил внутри христианской церкви между католицизмом и протестантством радикально изменило их отношение к таким фигурам, как Лойола, Лютер и Кромвель. Достаточно поверхностного знания работ французских историков за последние 40 лет, чтобы признать, как глубоко повлияла на нее Русская революция 17 года. Историк принадлежит не прошлому, а настоящему. Профессор Тревор-Рупер сказал нам, что историку «надлежит любить прошлое» [*Introduction to J. Burckhardt, Judgements on History and Historians (1959), с. 17*]. Это сомнительное предписание. Любовь к прошлому может легко быть лишь проявлением ностальгического романтизма старых людей и старых обществ, симптомом потери веры и интереса по отношению к настоящему или будущему [*Сравните*

взгляд Ницше на историю: "В старости человек оглядывается назад и подводит счета, ищет утешения в воспоминаниях о прошлом, в исторической культуре" (*Thoughts Out of Season*, англ. перевод, 1909, ii, с.65—66)]. Говоря о выражениях, мне больше импонирует то, в котором говорится об "освобождении от мертвой руки прошлого". В функцию историка не входит ни любовь к прошлому, ни освобождение себя от прошлого, ему надлежит освоить и понять прошлое как ключ к пониманию настоящего.

Приведя часть умозаключений, которые я называю взглядом Колингвуда на историю, не могу умолчать и об опасностях, таящихся в них. Подчеркивание роли историка в создании истории, доведенное до своего логического конца, склонно привести к отрицанию какой-бы то ни было объективной истории вообще: история есть то, что создается историком. Как мне кажется, Колингвуд и сам пришел к такому заключению в одной из своих неопубликованных работ, процитированной его редактором:

"Святой Августин смотрел на историю с точки зрения раннего Христианства; Тилламонт — с точки зрения француза семнадцатого века; Гиббон — с точки зрения англичанина восемнадцатого века; Момсен — с точки зрения немца девятнадцатого века. Нет смысла спрашивать, которая из этих точек зрения была верной. Каждая из них была единственно возможной для человека, принявшего ее" [*R.Collingwood, The Idea of History (1946), с. XII*].

Это, как и замечание Фроде о том, что история есть "детский ящик с буквами, из которых мы можем составить любое нужное нам слово" [*A.Froude, Short Studies on Great Subjects, i (1894), с.21*], равносильно полному скептицизму. В своей реакции против истории "ножниц и клея", против взгляда на историю как простую компиляцию фактов Колингвуд опасно приближается к рассмотрению истории как некоей сущности, вытканной человеческим мозгом, и возвращает нас обратно к заключению, о

котором говорит сэр Джордж Кларк в вышеприведенной цитате, о том, что нет объективной исторической правды. Вместо теории бессмысленности истории нам предлагается теория множественности исторических смыслов при неверности как той, так и другой, в принципе означающих одно и то же. Вторая теория так же несостоятельна, как и первая. Из того, что гора приобретает разные очертания при рассмотрении с разных точек зрения, не следует, что она либо объективно не имеет очертаний, либо имеет множество очертаний. Из того, что при установлении фактов истории необходима интерпретация, и из того, что ни одна из существующих интерпретаций не совсем объективна, не следует, что одна интерпретация стоит другой и факты истории в принципе не поддаются объективной интерпретации. Позже мне придется вернуться к вопросу о том, что значит объективность в истории.

Но в гипотезе Колингвуда таится еще большая опасность. Если историк непременно смотрит на изучаемый им исторический период через призму своего времени и исследует проблемы прошлого как ключ к разрешению проблем настоящего, не скатится ли он к чисто прагматическому взгляду на факты и не сочтет ли, что критерием правильности интерпретации является ее пригодность для какой-либо текущей цели? Согласно этой гипотезе, факты истории есть ничто, интерпретация есть все. Ницше уже провозгласил принцип: “Фальшивость мнения еще не повод для того, чтобы возражать против него... Вопрос в том, насколько оно жизнеутверждающе, жизнесохраняюще, возможно, видообразующе” [*Beyond Good and Evil*, гл. I]. Американские прагматики двигались в том же направлении, пусть и менее заметно, с меньшим энтузиазмом. Знание есть знание для какой-либо цели. Валидность знания зависит от валидности цели. Но даже там, где эта теория не проповедовалась, практика все же предоставляла не меньше причин для беспокойства. В моей области исследова-

ния я встречал слишком много примеров, попирающих факты экстравагантных интерпретаций, чтобы не осознавать всю серьезность этой опасности. Неудивительно, что внимательное изучение ряда наиболее экстремистских продуктов школ советской и антисоветской историографии иногда порождает некоторую ностальгию по той иллюзорной пристани чисто фактуальной истории девятнадцатого века.

Как же тогда, в середине двадцатого века, мы должны определять обязанности историка по отношению к фактам? Полагаю, что в последние годы я провел достаточно много часов за поиском и изучением документов, разбавляя свое историческое повествование должным образом преподносимыми фактами, чтобы меня можно было бы обвинять в бесцеремонном обращении с фактами и документами. Обязанность историка уважать факты не исчерпывается обязанностью обеспечить их точность. Он должен стремиться к тому, чтобы внести в общую картину все известные или могущие быть известными факты, так или иначе связанные с темой, по которой он пишет, и с интерпретацией, которую он предлагает. Если он стремится к тому, чтобы описать англичанина времен Викторианства моральным и рациональным существом, он не должен забывать о том, что случилось в Сталибридж Уэйк в 1850 году. Но это, в свою очередь, не означает, что он должен устранить интерпретацию, которая является жизнеобеспечивающей кровью истории. Друзья неспециалисты, то есть неакадемики или академики из других академических дисциплин, иногда спрашивают меня, как работает историк при написании истории. Самое распространенное убеждение сводится к тому, что историк делит свою работу на две четко разграничиваемые фазы или периоды. Сначала он уделяет долгий предварительный период времени чтению источников и заполнению своих тетрадей фактами; затем, покончив с этим, он откладывает свои источники, вынимает свои записи и пишет книгу с начала

до конца. Мне эта картина кажется неубедительной и неправдоподобной. Что касается меня, как только я нахожу несколько капитальных источников, я не могу противиться искушению начать писать — необязательно с самого начала, с любого места. То есть, чтение и написание идут одновременно. В ходе чтения написанное дополняется, сокращается, видоизменяется, вычеркивается. Чтение определяется, направляется и обогащается письмом: чем больше я пишу, тем больше я знаю, что ищу, тем лучше понимаю важность и значимость того, что я нахожу. Некоторые историки, возможно, осуществляют это предварительное написание в уме, без ручки, бумаги или пишущей машинки, точно так же, как некоторые играют в шахматы, не пользуясь доской и шахматными фигурами; это талант, которому я завидую, но не могу подражать. Тем не менее, я убежден, что в случае с любым историком, заслуживающим этого звания, эти два процесса “ввода” и “вывода”, как говорят экономисты, идут одновременно и на практике являются частями одного и того же процесса. Если вы попытаетесь отделить их или отдать предпочтение одному в ущерб другому, вы допустите одну из двух ересей. Либо вы будете писать историю “клеем и ножницами”, без смысла или значимости; либо будете писать пропагандистскую или историческую беллетристику, используя факты прошлого для украшения работы, не имеющей никакого отношения к истории.

Наш анализ отношения историка к фактам истории ставит нас в сомнительное положение между Сциллой несостоятельной теории истории как объективной компиляции фактов, неквалифицированного примата фактов над интерпретацией и Харибдой такой же несостоятельной теории истории как субъективного продукта ума историка, устанавливающего факты истории и осваивающего их посредством интерпретации, между взглядом на историю с центром тяжести в прошлом и взглядом на историю, имеющим центр тяжести в настоящем. И все же наше положение

ние не столь сомнительно, как кажется. В этих лекциях мы столкнемся с той же дихотомией факта и интерпретации под другими личинами — в соотношении общего и частного, эмпирического и теоретического, объективного и субъективного. Трудность историка есть отражение природы человека. Человек, за исключением периода младенчества и глубокой старости, не полностью вовлечен в свое окружение и не подчинен ему безусловно. С другой стороны, он никогда не имеет полной независимости и никогда не является полным хозяином окружения. Отношение между историком и его окружением есть отношение историка к его теме. Историк не является ни покорным рабом, ни тираническим хозяином своих фактов. Между историком и фактами имеется отношение равенства, отношение “дай — возьми”. Как знает любой работающий историк, если он перестает размышлять над тем, что он делает, когда думает и пишет, он будет вовлечен в постоянный процесс адаптирования своих фактов к своей интерпретации и наоборот. Невозможно отдать приоритет одному над другим.

Историк начинает с временного отбора фактов и временной интерпретации, в свете которой такой отбор производится — как другими, так и им самим. В ходе работы и интерпретация, и отбор, и порядок представления фактов претерпевают, в результате обоюдного их взаимодействия, неуловимые и, возможно, отчасти неосознанные изменения. А это обоюдное взаимодействие также предполагает взаимодействие между прошлым и настоящим, поскольку историк является частью настоящего, а факты относятся к прошлому. Историк и факты истории необходимы друг другу. Историк без фактов беспочвенен и бесплоден; факты без историка мертвы и бессмысленны. Поэтому мой первый ответ на вопрос “Что такое история?” таков: это постоянный процесс взаимодействия между историком и его фактами, нескончаемый диалог между настоящим и прошлым.

2. Общество и индивидуум

Вопрос о том, что первично — общество или индивидуум — это вопрос о курице и яйце. Подходя к нему с логической или исторической точки зрения, вы не сможете выдвинуть никакого тезиса, который не мог бы спровоцировать противоположное и в равной мере одностороннее утверждение. Общество и индивидуум неразделимы; они нуждаются друг в друге и дополняют друг друга, но не противостоят друг другу. “Ни один человек — не остров, существующий сам по себе, — как говорится в известном высказывании Донне, — каждый человек составляет лишь часть континента, часть целого” [*Devotions upon Emergent Occasions, No xvii*]. Это одна сторона правды. С другой стороны, возьмите афоризм Д.С. Милля, классического индивидуалиста: “Воспитываясь вместе, люди не преобразуются в другую субстанцию” [*J.S. Mill, A System of Logic, vii, 1*]. Конечно, нет. Но заблуждением было бы предполагать, что они существовали или имели некую субстанцию до того, как стали “воспитываться вместе”. Как только мы рождаемся, мир начинает обрабатывать нас и преобразует нас из существ биологических в существа социальные. Каждый человек на любой стадии истории или предыстории рождается в среде общества и с ранних своих лет формируется им. Язык, на котором он говорит, не является его личным наследием, но социальным приобретением группы, в среде кото-

рой он растет. И язык, и окружение помогают определить характер образа его мыслей; самые ранние его мысли приходят к нему от других. Как было хорошо замечено, индивидуум без общества не имел бы ни речи, ни разума. Миф о Робинзоне Крузо обязан длительностью своего очарования попытке представить индивидуума независимым от общества. Попытка не удалась. Робинзон не является абстрактной фигурой, но англичанином из Йорка; он носит с собой свою Библию и молится Богу своего племени. Миф быстро одаривает его Пятницей; и начинается строительство нового общества. Другой уместный в связи с этим миф — миф Кириллова из “Бесов” Достоевского, который убивает себя, чтобы продемонстрировать полноту своей свободы. Самоубийство — единственный совершенно свободный акт, доступный человеку; любой другой акт так или иначе связан с его членством в том или ином обществе. [*Диркгейм в своем хорошо известном исследовании самоубийства придумал термин аномия для обозначения состояния индивидуума, изолированного от общества — состояния, приводящего к эмоциональному потрясению и самоубийству; но он также показал, что самоубийство никак не свободно от социальных условий.*]

Обычно антропологи говорят, что примитивный человек, по сравнению с цивилизованным, менее индивидуален и более подвержен в процессе своего формирования воздействию общества. В этом есть зерно истины. Простые общества более унифицированы в том смысле, что они проповедуют и предоставляют возможности для гораздо меньшей амплитуды различий в индивидуальных навыках и родах занятий, чем более сложные и более развитые общества. В этом смысле усиление индивидуализации является необходимым продуктом развитого современного общества и охватывает все виды деятельности в таком обществе сверху донизу. Но было бы серьезной ошибкой противопостав-

лять процесс индивидуализации общества его растущей силе и сплоченности. Развитие общества и развитие индивидуума идут рука об руку и определяют друг друга. В самом деле, то, что мы понимаем под сложным или развитым обществом, есть общество, в котором взаимозависимость индивидуумов достигла более продвинутых и более сложных форм. Было бы опасно предполагать, что современное национальное сообщество менее сильно, чем примитивное племенное общество в плане формирования характера и менталитета его индивидуальных членов и в достижении определенной степени их конформизма и унифицированности. Устаревшая концепция национального характера, основанная на биологических различиях, давно отвергнута; но трудно отрицать различия в национальном характере, возникающие из разницы в национальных фонах общества и в образовании. Это трудноопределимое понятие “природа человека” так разнится от страны к стране и из века в век, что трудно не рассматривать его как исторический феномен, формирующийся под воздействием преобладающих социальных условий и традиций. Есть много различий между, например, американцами, русскими и индейцами. Но некоторые и, вероятно, самые важные из этих различий принимают форму разницы в подходе к социальным отношениям между индивидуумами, или, другими словами, к способу, которым должно составляться общество; таким образом, исследование различий между американским, русским и индейским обществами в целом может оказаться наилучшим способом изучения индивидуальных американцев, русских и индейцев. Цивилизованные люди, как и примитивные, формируются обществом столь же эффективно, как и само общество ими. Нельзя иметь яйцо без курицы, равно как и нельзя иметь курицу без яйца.

Было бы излишним останавливаться на этих очевидных истинах, если бы не факт, что они были стерты в нашем сознании

замечательным и исключительным периодом истории, из которого в данный момент выходит западный мир. Культ индивидуализма стал одним из наиболее распространенных мифов современной истории. Как утверждает в одном из известных отчетов Беркхардта *Civilization of Renaissance in Italy*, вторая часть которого озаглавлена “Развитие индивидуума”, культ индивидуума берет свое начало из эпохи Ренессанса, когда человек, прежде “осознававший себя как член расы, народа, партии, семьи или корпорации”, наконец “стал духовным индивидуумом и признал себя в качестве такового”. Позже культ связывался с подъемом капитализма и протестанства, с началом индустриальной революции и с доктриной *laissez-faire*. Права человека и гражданина, провозглашенные Французской революцией, были правами индивидуума. Индивидуализм был основой великой философии утилитаризма девятнадцатого века. Эссе Морле *On Compromise*, характерный документ Викторианского либерализма, называл индивидуализм и утилитаризм “религией человеческого счастья и благополучия”. “Грубый индивидуализм” стал ключевым выражением прогресса человечества. Это может послужить основой совершенно здравого и надежного анализа идеологии той или иной исторической эпохи. Но я хотел бы пояснить, что усиление индивидуализма, которым сопровождался подъем современного общества, было нормальным процессом развивающейся цивилизации. Социальная революция привела к власти новые социальные группы. Она действовала, как и всегда, через индивидов и предлагала новые возможности индивидуального развития; а поскольку на ранних стадиях капитализма средства производства и распределения были большей частью в руках индивидуумов, идеология нового социального порядка сильно выделяла роль индивидуальной инициативы. Но процесс в целом был социальным процессом, представляющим конкретную стадию ис-

торического развития, и он не может быть объяснен как бунт индивидуума против общества или как освобождение индивидуума от социальных ограничений.

По многим признакам можно определить, что даже в западном мире, центре этого развития и этой идеологии, данный период истории подошел к концу: мне нет необходимости убеждать в подъеме того, что называется массовой демократией, или в постепенном смещении преимущественно индивидуальных форм экономического производства и организации формами преимущественно коллективными. Однако порожденная этим длительным и плодотворным периодом идеология все еще является доминирующей силой в Западной Европе и во всех англоязычных странах. Когда мы абстрактно говорим о напряженности между свободой и равенством или между индивидуальной свободой и социальной справедливостью, мы склонны забывать о том, что борьба идет не между абстрактными идеями. Это не конфликт между индивидуумами и обществом как таковыми, но между группами индивидуумов в обществе, каждая из которых стремится к осуществлению благоприятной для себя социальной политики и воспрепятствованию враждебным социальным курсам. Индивидуализм, уже не в смысле мощного социального движения, а в смысле ложной оппозиции индивидуума обществу, сегодня стал лозунгом заинтересованной в нем группы и, в силу своего противоречивого характера, барьером к нашему пониманию того, что происходит в мире. Я не имею ничего против культа индивидуализма как протеста против извращенности обращения с индивидуумом как со средством и обществом или государством как с целью. Но мы не придем к реальному пониманию как прошлого, так и настоящего, если будем оперировать концептом абстрактного индивида, стоящего вне общества.

А это приводит меня, наконец, к сути моего длинного отступления. Здравомыслящий взгляд на историю видит ее как не-

что написанное индивидуумами и для индивидуумов. Этот взгляд был несомненно взят у либеральных историков девятнадцатого века, и по существу он не неверен. Но сегодня он представляется чересчур упрощенным и неадекватным, нам следует копать глубже. Знание историка не является его исключительной индивидуальной собственностью: люди, наверное, многих поколений и многих стран принимали участие в его аккумуляции. Люди, чьи действия изучает историк, не были изолированы от общества и не действовали в вакууме: они действовали в контексте и под воздействием общества прошлого. В своей последней лекции я описал историю как процесс взаимодействия, диалог между историком настоящего и фактами прошлого. Сейчас я хотел бы углубиться в относительный удельный вес индивидуальных и социальных элементов на обеих сторонах уравнения. В какой степени историки являются отдельными индивидами, а в какой — продуктами своего общества и времени? Насколько факты истории являются фактами, говорящими об отдельных индивидах, и насколько — об обществе в целом?

Следовательно, историк является индивидуальным человеческим существом. Как и другие индивиды, он также является и социальным феноменом и продуктом, вольным или невольным представителем общества, к которому он принадлежит; именно в этом качестве он рассматривает факты исторического прошлого. Иногда мы говорим о курсе истории как о “движущейся процессии”. Эта метафора вполне оправдана, если она не толкает историка на то, чтобы думать о себе как об орле, оглядывающем сцену с одинокой скалы, или как VIP на салюте. Ничего подобного! Историк — лишь еще одна смутно различимая фигура, устало бредущая в другой части процессии. И по мере того, как процессия уклоняется то вправо, то влево, иногда петляя, относительное положение различных ее частей постоянно меняется

так, что вполне можно сказать, например, что сегодня мы гораздо ближе к средним векам, чем наши прадеды век назад, или что эпоха Цезаря к нам ближе, чем эпоха Данте. По мере того, как процессия, а вместе с ней и историк, продвигаются вперед, появляются новые перспективы, новые точки зрения. Историк является частью истории. Та часть процессии, в которой он находится, предопределяет его видение прошлого.

Этот трюизм не менее уместен в отношении случая, когда рассматриваемый историком период отдален от его собственного времени. Когда я изучал древнюю историю, классическими образцами стиля были — и наверное, до сих пор остаются ими — *History of Greece* Гроте и *History of Rome* Момсена. Гроте, просвещенный и радикально мыслящий банкир, писавший в 40-х гг. прошлого века, олицетворял устремления поднимающегося и политически прогрессивного британского среднего класса в его идеализированном представлении афинской демократии, в которой Перикл представал бентамистским реформатором, а Афины приобрели империю в припадке рассеянности. Не будет чрезмерным предположить, что пренебрежение Гроте к проблемам рабства в Афинах отражало неумение группы, к которой он принадлежал, понять проблемы, стоящие перед новым рабочим классом Англии. Момсен был немецким либералом, разочарованным смятением и унижениями времен немецкой революции 1848—49 гг. Создавая свои труды в 50-х гг., десятилетия, которое видело рождение имени и понятия *Realpolitik*, Момсен был пропитан тем чувством, что сильному человеку надлежит расчистить завалы, оставшиеся из-за неумения немецких людей осознать свои политические устремления; и мы никогда не сумеем в полной мере оценить его историю, если мы не осознаем, что его хорошо известное идеализирование Цезаря есть результат тоски автора по такому сильному человеку, который бы спас Германию от раз-

рухи, и что юрист-политик Цицеро, пустой болтун и скользкий “резинщик”, появился прямо из дебатов Пауликирхе во Франкфурте 1848 года. Я бы не счел вопиющим парадоксом, если бы кто-то сказал, что *History of Greece* Гроте столь же много говорит сегодня об образе мыслей английских радикалов-философов 40-х гг., сколь об афинской демократии пятого века до нашей эры, или что любой, пытающийся понять последствия 1848 года для немецких либералов, должен взять *History of Rome* Момсена в качестве учебного пособия по интересующей его теме. Это ни в коей мере не приуменьшает великую историческую ценность упомянутых работ. Меня раздражает введенная Бюри в его вводной лекции мода притворяться, что величие Момсена основано не на его *History of Rome*, а на его надписях и его работе по римскому конституционному праву: это означает сведение истории до уровня компиляции. Великая история пишется именно тогда, когда видение историком прошлого освещено глубиной проникновения в проблемы настоящего. Часто удивляются, что Момсен не смог продолжить свою историю и вынести ее за временные рамки падения республики. У него было достаточно времени, возможностей и знания для того, чтобы это сделать. Но, когда Момсен писал свою историю, сильный человек в Германии еще не появился. В течение активного периода его карьеры проблема того, что случилось когда-то, после прихода сильного человека, еще не стояла. Ничто не вдохновляло Момсена на проецирование этой проблемы на римскую сцену; и история империи осталась ненаписанной.

Примеров этому феномену среди современных историков множество. В своей последней лекции я отдал дань уважения книге Г.М. Тревельяна *England under Queen Anne* как монументу виговской традиции, в обстановке которой он вырос. Давайте рассмотрим весьма внушительное и важное достижение того,

кого большинство из нас считает величайшим из историков Великобритании на академической сцене после первой мировой войны: сэра Льюиса Намьера. Намьер был истинным консерватором — не типичным английским консерватором, который, если его поскрести, на 75% оказывается либералом, но консерватором, какого мы не видели среди британских историков более ста лет. Между серединой последнего столетия и 1914 годом для британского историка было непостижимым рассматривать исторические перемены как перемены к лучшему. В 20-х гг. мы вошли в период, в котором перемены ассоциировались со страхом перед будущим и могли оцениваться как перемены к худшему, период возрождения консервативного мышления. Сила и глубина как либерализма Актона, так и консерватизма Намьера имели континентальные корни [*Стоит, вероятно отметить, что единственный, кроме Намьера, значительный британский консерватор в период между войнами, г-н Т. С. Элиот, также имел преимущество небританского происхождения; никто из выросших в Великобритании до 1914 года не мог полностью избежать сдерживающего влияния либеральной традиции*]. В отличие от Фишера или Тойнби, Намьер не имел корней в либерализме девятнадцатого века и не страдал ностальгией по нему. После того, как первая мировая война и краткосрочный мир обнажили банкротство либерализма, реакцией на это банкротство могло быть одно из двух: социализм или консерватизм. Намьер проявился как консервативный историк. Он работал в двух областях, и выбор каждой из них был весьма знаменателен. В английской истории он вернулся к последнему периоду, во время которого правящий класс был способен заниматься рациональным поиском положения и власти в упорядоченном и преимущественно статическом обществе. Кто-то обвинял Намьера в лишении истории ума. [*Первоначальная критика в анонимной*

статье *"The Namier View of History"* в *"The Times Literary Supplement"* от 28 августа 1953 года звучит так: *"Дарвина обвиняли в лишении вселенной ума; а сэр Льюис был Дарвиным политической истории — и больше, чем в одном смысле.]* Это не самая удачная фраза, конечно, но можно увидеть то, на чем настаивал критик. При восшествии на престол Георга III политики все еще были свободны от фанатизма идей и от той страстной веры в прогресс, которая охватила мир после свершения Французской революции и ознаменовала вступление в эру триумфального либерализма. Никаких идей, никакой революции, никакого либерализма: Намьер предпочел дать блестящий портрет времени, свободного — правда, ненадолго — от всех этих опасностей.

Однако выбор Намьером второго направления своих исследований был не менее знаменательным. Намьер обошел стороной великие современные революции, Английскую, Французскую и Русскую, — он практически не написал о них ничего существенного — и предпочел дать нам глубокое исследование Европейской революции 1848 года — революции, которая потерпела провал, стала крушением надежд всей Европы на либерализм, демонстрацией беспомощности идей перед вооруженной силой, демократов перед солдатами. Вмешательство идей в политический бизнес бесплодно и опасно — Намьер вдавливал эту мораль, назвав этот унизительный провал "революцией интеллектуалов". Наш вывод не является лишь домыслом, догадкой; хотя Намьер не написал ничего систематического по философии истории, он выразил свои взгляды с присущей ему четкостью и пронизательностью в эссе, опубликованном несколько лет назад. Он пишет: "И потому, чем меньше человек затуманивает себе мозги политическими доктринами и догмами, тем лучше для мышления. — И, упомянув, но не опровергнув обвинение в том, что он лишил историю ума, он продолжает: — Некоторые поли-

тические философы жалуются на "скучное затишье" и отсутствие в настоящее время в нашей стране споров по проблемам общей политики; идут поиски способов практического разрешения конкретных проблем, при этом обе стороны забывают о программах и идеалах. Мне лично кажется, что такое отношение свидетельствует о возросшей национальной зрелости, и я бы лишь желал, чтобы оно существовало и дальше, не подвергаясь воздействию политической философии" [*L. Namier, Personalities and Powers (1955), с.5,7*].

Сейчас мне не хотелось бы оспаривать эту точку зрения: я оставляю это для одной из моих будущих лекций. Сейчас я хотел бы проиллюстрировать две важные истины: первая — что вам не дано полностью понять или оценить труд историка, если сначала вы не разобрались, с какой позиции он подошел к нему, во-вторых, что эта позиция сама уходит корнями в социальные и исторические обстоятельства, ей сопутствующие. Не забывайте, что, как сказал однажды Маркс, учитель должен сам учиться; на модном жаргоне, мозги промывателя мозгов также нуждаются в промывке. Прежде чем начать писать об истории, историк сам уже является продуктом истории.

Историки, о которых я только что говорил — Гроте и Момсен, Тревельян и Намьер — были все отлиты в одной и той же социально-политической форме; между их ранними и более поздними взглядами нет заметных различий. Однако некоторые из историков в периоды быстрых перемен отразили в своих трудах не одно общество и не один общественный порядок, но серию различных порядков. Самый лучший из известных мне примеров — это великий немецкий историк Мейнеке, который прожил долгую и плодотворную жизнь и раскрыл серию революционных и катастрофических перемен в судьбе своей страны. Здесь мы фактически имеем дело с тремя Мейнеке, каждый из кото-

рых является рупором различной исторической эпохи и каждый из которых говорит посредством одной из его трех главных работ. Мейнеке — автор *Weltbürgerthum and Nationalstaat*, опубликованной в 1907 году, уверенно наблюдает за реализацией немецких национальных идеалов в рейхе Бисмарка и, как и многие мыслители девятнадцатого века, начиная от Мазини и далее, — идентифицирует национализм как высшую форму универсализма: это продукт барочной Вильгельмины эпохи постбисмаркианства. Мейнеке — автор *Die Idee der Staatsräson*, опубликованной в 1925 году, говорит с раздвоенностью и смятенностью Веймарской Республики: мир политики стал ареной неразрешенного конфликта между *raison d'état* и морали, находящихся вне политики, но не могущих в конце концов не принимать во внимание жизнь и национальную безопасность. И, наконец, Мейнеке — автор *Die Entstehung des Historismus*, увидевшей свет в 1936 году, когда нацистским потоком с него смыло все академические регалии, издает крик отчаяния, отвергая историцизм, как будто признающий лозунг “Что бы ни было, все правильно”, и беспокорно мечется между исторически относительным и сверхрационально абсолютным. В завершение всего, Мейнеке в старости увидел свою страну смирившейся с военным разгромом, более разрушительным, чем в 1918 году, он беспомощно впадает в *Die Deutsche Katastrophe* 1946 года, выражая веру в историю, находящуюся в милости слепого, неумолимого случая [Здесь я обязан д-ру У. Кларку за его отличный анализ развития Мейнеке в его введении к английскому переводу *Die Idee der Staatsräson*, опубликованном под названием “Machiavellism” в 1957 году; д-р Кларк, возможно, преувеличивает сверхрациональный элемент во время третьего периода Мейнеке]. Психолог или биограф мог бы заинтересоваться в развитии Мейнеке как индивидуума; историка же интересует прежде всего способ, которым Мейнеке

отражает три или четыре последовательных и резко контрастирующих периода настоящего времени на материале исторического прошлого.

Или давайте возьмем характерный пример поближе к дому. В иконокластических 30-х годах, когда либеральную партию только-только начали осознать как крупную силу в британской политике, профессор Батерфилд написал книгу, называющуюся *The Whig Interpretation of History*, которая пользовалась огромным и заслуженным успехом. Это была книга, замечательная во всех отношениях — и не в последнюю очередь по той причине, что, осуждая виговскую интерпретацию на протяжении почти 130 страниц, она (насколько я могу судить, не заглядывая в индекс) не называла ни одного вига кроме Фокса, который не был историком, и ни одного историка, за исключением Актона, который не был вигом. [*H.Butterfield, The Whig Interpretation of History (1931); на с. 67 автор признает за собой “нездоровое недоверие” к “бесплотному рассуждению”.*] Но все, чего не хватало книге в плане деталей и точности, компенсировалось ее искрящейся бранью. У читателя не оставалось сомнений в том, что виговская интерпретация — это плохо; и одним из выдвигаемых против нее обвинений было, что “она изучает прошлое со ссылкой на настоящее”. В этом отношении профессор Батерфилд был категоричен и суров:

“Изучение прошлого одним глазом, обращенным, так сказать, на настоящее, является источником всех грехов и софистики в истории... Это суть того, что мы называем “неисторическим” [*H.Butterfield, The Whig Interpretation of History (1931); с.11, 31—32*].

Прошло двенадцать лет. Мода на иконоклазм прошла. Страна профессора Батерфилда увязла в войне, о которой говорили, что она ведется в защиту конституционных свобод, воплощен-

ных в виговской традиции, под предводительством великого лидера, который постоянно бранил прошлое, “одним глазом смотрящее на настоящее”. В маленькой книжке под названием *The Englishman and His History*, опубликованной в 1944 году, профессор Батерфилд не только решил, что виговская интерпретация истории была “английской” интерпретацией, но и с энтузиазмом говорил о “связи англичанина со своей историей” и о “бракосочетании прошлого с настоящим” [*H.Butterfield, The Englishman and His History (1944), с. 2, 4–5*]. Внимание к таким кардинальным переменам во взглядах не есть недружелюбная критика. В мои цели не входит опровержение прото-Батерфилда деутеро-Батерфилдом, или противопоставление профессора Батерфилда пьяного и трезвого. Я полностью осознаю, что, если бы кто-нибудь взял на себя труд просмотреть некоторые из написанных мною ранее вещей, во время войны или после нее, ему не составит труда убедить меня в противоречиях и непоследовательности не менее вопиющих, чем те, которые я обнаруживаю у других. В самом деле, я не уверен, что должен завидовать любому историку, который мог бы честно претендовать на то, что он пережил сотрясающие землю события последних пятидесяти лет без радикальных изменений своего мировоззрения. Я ограничиваюсь лишь целью показать, насколько точно труды историка отражают общество, в котором он работает. Дело не только в том, что события постоянно меняются. Постоянно меняется сам историк. Возьмите в руки историческую книгу и вы поймете, что недостаточно посмотреть на имя автора на титульном листе: нужно обратить внимание и на дату опубликования или написания — иногда это оказывается более информативным. Если философ прав, утверждая, что мы не можем вступить в одну и ту же реку дважды, в равной степени, наверное, справедлив, и по той же причине, и тезис о том, что две книги не могут быть написаны одним и тем же историком.

А если мы ненадолго отвлечемся от индивидуального историка к тому, что можно назвать общими тенденциями исторического творчества, мера, в которой историк является продуктом своего общества, становится еще более очевидной. В девятнадцатом веке британские историки, за редким исключением, рассматривали ход истории как демонстрацию принципа прогресса: они выражали идеологию замечательно прогрессирующего общества. Для британских историков история была наполнена смыслом постольку, поскольку она казалась движущейся в нашем направлении; теперь, когда она сделала неверный поворот, вера в исторический смысл стала ересью. После первой мировой войны Тойнби сделал отчаянную попытку заменить линейный взгляд на историю взглядом циклическим — характерная идеология приходящего в упадок общества [*Марк Аврелий в сумерках римской империи утешал себя рассуждениями о том, “как все случающееся сегодня случилось в прошлом, и будет иметь место в будущем” (To Himself, x, с. 27); как хорошо известно, Тойнби позаимствовал эту идею из книги Шпенглера “Decline of the West”*]. Со времени провала Тойнби британские историки большей частью довольствовались тем, что воздевали руки и объявляли, что в истории нет общей структуры. Банальное замечание об этом же Фишера [*Предисловие от 4 декабря 1934 года к “A History of Europe”*] стало столь же популярным, как и афоризм Ранке в прошлом веке. Если мне скажут, что британские историки последних тридцати лет претерпели данное изменение во взглядах в результате глубокого индивидуального мышления при полуночной свече в отдельных мансардах, я не сочту нужным оспаривать это утверждение. Но я буду продолжать рассматривать все эти акты индивидуального мышления и горение свеч как явление социальное, продукт и выражение фундаментальных изменений в характере и взглядах нашего общества с

1914 года. Нет более значительного показателя характера общества, чем то, какого рода историю оно пишет или не пишет. Гейл, голландский историк, в своей захватывающей монографии, переведенной на английский под названием *Napoleon For and Against*, показал, как следующие друг за другом суждения французских историков девятнадцатого века в отношении Наполеона отражали изменяющиеся и конфликтующие тенденции французской политической жизни на протяжении столетия. Мысль историков, как и других людей, формируется их временем и местом. Полностью разделяющий это мнение Актон искал убежища от этого в самой истории:

"История, — писал он, — должна быть нашим избавлением не только от неподобающего влияния других времен, но и от неподобающего влияния нашего собственного времени, от тирании окружения и давления воздуха, которым мы дышим" [*Acton, Lectures on Modern History (1906), с. 33*].

Это может показаться весьма оптимистичной оценкой роли истории. Но я осмелюсь поверить, что историк, более остро ощущающий свое собственное положение, также способен преодолеть его, и еще более способен оценить суть природы различий между своим собственным обществом и другими периодами и странами, чем историк, который громко протестует против влияния среды, заявляя, что он есть явление индивидуальное, а не социальное. Способность человека подняться над своей социальной и исторической ситуацией кажется обусловленной той чувствительностью, с которой он признает степень своей зависимости от нее.

В моей первой лекции я сказал: прежде, чем изучать историка, изучите его историческое и социальное окружение. Будучи индивидуумом, историк также является продуктом истории и общества; и именно в таком двояком свете студенту истории следует изучать и рассматривать его.

Давайте оставим историков и рассмотрим иную сторону моего уравнения — факты истории — в свете той же самой проблемы. Является ли объектом внимания историка поведение индивидуумов или действие социальных сил? Здесь я перехожу на более проторенные пути. Когда сэр Исайя Берлин опубликовал несколько лет назад блестящее и популярное эссе *Historical Inevitability*, к главному тезису которого я вернусь в этих лекциях позже, он поставил во главу угла девиз, взятый из работы г-на Т.С. Элиота "Огромные безличные силы"; и через все эссе он высмеивает людей, считающих решающими факторами истории "огромные безличные силы", а не индивидуумов. То, что я называю теорией истории плохого короля Джона — взгляд, что важным в истории является характер и поведение индивидуумов — имеет длинную родословную. Желание постулировать индивидуальный гений как творящую историческую силу характерно для примитивных стадий человеческого сознания. Древние греки любили называть достижения по именам героев, которые, предположительно, их добивались, приписывали свою эпическую барду по имени Гомер, а свои законы и институты — какому-нибудь Ликургу или Солону. Ту же самую предрасположенность можно обнаружить во времена Возрождения, когда Плутарх, биограф-моралист, был намного более популярной и влиятельной фигурой классического возрождения, чем историки античности. В этой стране, в частности, мы все обучены этой теории так сказать с пеленок; и сегодня мы наверное должны признать, что в ней есть что-то детское или детоподобное. Она была в какой-то мере состоятельной во времена, когда общество было проще, и общественные дела управлялись горсткой хорошо известных личностей. Она явно не подходит для более сложного общества нашего времени; и рождение в девятнадцатом веке новой науки социологии было реакцией на такую возрастающую сложность.

И все же, старые традиции умирают с трудом. В начале этого столетия высказывание “история есть биография выдающихся личностей” все еще было популярным. Лишь десять лет назад выдающийся американский историк обвинял своих коллег, возможно, не очень серьезно, в “массированном убийстве исторических характеров”, обращаясь с ними как с “марионетками социальных и экономических сил” [*American Historical Review*, lvi, №1 (январь 1951), с. 270]. Приверженцы этой теории сегодня несколько поскромнели; но, поискав, я нашел отличный пример ее современного проявления во введении к одной из книг м-с Уэджвуд:

“Поведение людей как личностей (пишет она) меня интересует больше, чем их поведение как групп или классов. История может писаться с этим предубеждением, как и с любым другим; при этом она не будет более или менее правдивой ... Эта книга... является попыткой понять, что чувствовали эти люди и почему, в их понимании, они действовали так, а не иначе” [*C.V. Wedgwood, The King's Peace (1955), с. 17*].

Это утверждение точно; и, поскольку мисс Уэджвуд является популярной писательницей, многие думают так же, как и она. Д-р Роуз говорит нам, например, что елизаветинская система развалилась потому, что Джеймс был не в состоянии понять ее, и что Английская революция семнадцатого века была “случайным” событием из-за тупости двух первых королей династии Стюартов [*A.L. Rowse, The England of Elizabeth (1950), с. 261-262, 382. Справедливости ради следует отметить, что в одном из своих ранних эссе г-н Роуз осудил “историков, которые считают, что Бурбоны не сумели восстановить монархию во Франции после 70-х гг. лишь потому, что Генрих V был слишком предан маленькому белому флагу” (The End of an Epoch, 1949, с. 275); возможно, он приберегает такие личные объяснения для английской истории*]. Даже сэр Джеймс Неаль, более аске-

тичный историк, чем д-р Роуз, иногда, кажется, более охотно выражает свое восхищение Королевой Елизаветой, чем объясняет, за что стояла монархия Тюдоров; а сэр Исайя Берлин в эссе, которое я только что цитировал, выражает крайнюю озабоченность по поводу того, что историки не сумеют осудить Чингис-хана и Гитлера как плохих людей [*I. Berlin, Historical Inevitability (1954), с. 42*]. Теория плохого короля Джона и хорошей королевы Бесс особенно распространена, когда речь заходит о более недавних событиях. Легче назвать коммунизм “детисцем Карла Маркса” (я подобрал этот цветок в недавнем буклете биржевых маклеров), чем проанализировать его происхождение и характер, приписать большевистскую революцию тупости Николая II или немецкому золоту, чем вскрыть ее глубинные социальные причины; и увидеть в двух мировых войнах нынешнего века результат индивидуальной порочности Вильгельма II и Гитлера, а не глубокий кризис системы международных отношений.

В таком случае утверждение мисс Уэджвуд объединяет два. Первое — что поведение людей как личностей отлично от их поведения как членов групп или классов и что историк вправе предпочесть одно другому. Второе заключается в том, что исследование поведения людей как личностей сводится к изучению осознанных мотивов их действий.

После того, что я уже сказал, мне нет необходимости останавливаться на первом из них. Дело не в том, что взгляд на человека как на индивидуальность более или менее неточен, чем взгляд на него как члена группы. Именно попытка провести грань между двумя как раз и вводит в заблуждение. Индивидуум по определению является членом общества, или, возможно, более, чем одного обществ — назовите это группой, классом, племенем, нацией или чем-либо иным. Ранние биологи довольствовались классификацией видов птиц, животных, рыб в клетках, ак-

вариумах и витринах и не пытались исследовать живые существа в их отношении к окружению. Вероятно, социальные науки сегодня еще не вышли из своей зачаточной стадии. Некоторые проводят различие между психологией, как наукой об индивидууме, и социологией, как наукой об обществе, и словом “психологизм” обозначают взгляд, что все социальные проблемы можно в конечном итоге свести к анализу поведения отдельного индивида. Но психолог, не сумевший исследовать социальное окружение индивида, не уйдет далеко [*Современные психологи, тем не менее, были убеждены в этой ошибке: “Психологи как группа не рассматривали личность как единицу в функционирующей социальной системе, они рассматривали ее как конкретную личность, воспринимаемую как производящее социальные системы. Таким образом, они неадекватно принимали во внимание тот особый смысл, в котором данные категории являются абстрактными”* (Профессор Талькот Парсонс во введении к *Max Weber, The Theory of Social and Economic Organization, 1947, с. 27*). см. также замечания по Фрейдю, с. 138]. Велик соблазн провести различие между биографией, рассматривающей человека как индивида, и историей, которая рассматривает человека как часть целого, и предполагать, что из хорошей биографии получается плохая история. “Ничто не служит причиной стольких ошибок и несправедливости в человеческом взгляде на историю, — писал как-то Актон, — чем интерес, вызываемый отдельными личностями” [*Home and Foreign Review, январь 1863, с. 219*]. Но это различие тоже нереально. Мне в равной степени не хочется прикрыться пословицей, помещенной на титульном листе книги Г.М.Янга *Victorian England*: “Слуги говорят о людях, аристократы обсуждают вещи”. [*Эта идея была развита самым серьезным образом Гербертом Спенсером в The Study of Sociology, гл.2: “Если вам нужно грубо оценить чей-то умственный потенци-*

ал, вы не сделаете это лучше, чем путем наблюдения над соотношением обобщенного и личного в его речи — как часто простые истины о личностях уступают место истинам как обобщению большого опыта людей и вещей. А измерив таким образом многих, вы найдете лишь небольшое число людей, склонных воспринимать что-либо иначе, чем биографический взгляд на дела человеческие.] Некоторые биографии являются серьезным вкладом в историю: в моей области великолепным примером этого являются биографии Сталина и Троцкого, написанные Исааком Дейчером. Другие примеры тому можно найти в литературе, особенно в исторических романах. Профессор Тревор-Рупер писал: “Для Литтона Страче исторические проблемы были всегда лишь проблемами поведения и эксцентричности индивидуума... Он никогда не ставил и не пытался разрешить исторические проблемы, проблемы политики и общества”. [*H.R. Trevor-Roper, Historical Essays (1957), с.281*]. Никто не обязан писать или читать историю; о прошлом могут быть написаны прекрасные книги, не являющиеся историей. Но я думаю, мы обязаны по традиции — как я и сделаю в этих лекциях — оставить слово “история” за процессом исследования прошлого как прошлого человека в обществе.

Второй пункт, а именно, что история занимается поиском причин того, почему отдельные личности “в их собственной оценке поступили так, а не иначе”, на первый взгляд кажется весьма странным; подозреваю, что мисс Уэдждуд, как и другие здравомыслящие люди, на практике не делает того, что проповедует. А если да, то ее перу должно быть принадлежат весьма и весьма странные исторические работы. Сегодня каждый знает, что люди не всегда, если не сказать никогда, не действуют по мотивам, которые они полностью осознают или которые они открыто признают; а исключение неосознанных или не признаваемых открыто

мотивов из поля зрения — это верный способ работать, закрыв один глаз. Это, однако, как раз то, что, по мнению некоторых, и должны делать историки. Дело в следующем. До тех пор, пока вас удовлетворяет формулировка, что недостаток короля Джона заключался в его жадности или глупости, или амбициозности тирана, вы рассуждаете в терминах индивидуальных качеств, доступных пониманию даже детей. Но как только вы начинаете говорить, что король Джон был слепым орудием сторон, противящихся усилению власти феодальных баронов, вы не только вводите более сложный и изощренный взгляд на пороки короля Джона, а, по-видимому, предполагаете, что исторические события определяются не сознательными действиями индивидов, но какими-то внешними всемогущими силами, управляющими их бессознательной волей. Это, конечно, бессмыслица. Что касается меня, я не верю в божественное провидение, мировой дух, Судьбу, Историю с большой буквы или любую иную абстракцию, которая иногда подается как сила, управляющая ходом событий; и я без оговорок присоединяюсь к Марксу, считающему:

"История не делает ничего, она не обладает огромным богатством, не ведет никаких войн. Это делает, им обладает и их ведет живой человек" [*Marx-Engels, Gesamtausgabe, i, iii, с. 625*].

Два замечания, которые я должен сделать по этому вопросу, не имеют никакого отношения к какому-либо абстрактному взгляду на историю, они базируются на чисто эмпирических наблюдениях.

Первое заключается в том, что история в значительной мере есть вопрос чисел. Именно Карлейлю принадлежит неудачное утверждение, что "история есть биография великих людей". Но послушайте, что он говорит в своей самой красноречивой и великой исторической работе:

"Голод и нагота и кошмарная подавленность охватили двадцать пять миллионов сердец: это, а не уязвленное тщеславие или

критикуемые философии защитников философии, богатых торговцев, сельской знати, были основной движущей силой Французской революции; точно так же будет случаться во времена всех таких революций, во всех странах" [*History of the French Revolution, III, iii, гл. 1*]. Или, как сказал Ленин: "Политика начинается там, где имеет место активность масс, не там, где задействованы тысячи; серьезная политика начинается с активности миллионов" [*Lenin, Selected Works vii, с. 295*]. Миллионы Карлейля и Ленина были миллионами отдельных лиц: в них не было ничего безличного. В спорах по этому вопросу иногда путают анонимность и безличность. Люди не перестают быть людьми только потому, что мы не знаем их имен. "Огромные безличные силы" Элиота были личностями, которых Кларендон, более смелый и более откровенный консерватор, называет "грязными людьми без имен" [*Clarendon, A Brief View & Survey of the Dangerous & Pernicious Errors to Church & State in Mr.Hobbes' Book entitled Leviathan (1676), с. 320*]. Эти безымянные миллионы были индивидами, действующими более или менее бессознательно, вместе, и составляющими общественную силу. При обычных обстоятельствах историку нет нужды брать во внимание отдельно взятого недовольного крестьянина или отдельно взятую недовольную деревню. Но миллионы недовольных крестьян в тысячах недовольных деревнях являются фактором, который не может игнорироваться историком. Причины, удерживающие Джона от женитьбы, не интересуют историка, если такие же причины не удерживают от этого тысячи других людей его поколения и приводят к значительному спаду в количестве браков: в таком случае они могут оказаться исторически значимыми. Нет нужды также беспокоиться по поводу такой банальности, что движения начинаются меньшинством. Все значительные движения имели небольшое число лидеров и огромное множество по-

следователей; но это не означает, что множественность последних не была важной предпосылкой успеха первых. В истории числа имеют очень большое значение.

Второе мое наблюдение может быть засвидетельствовано еще более убедительно. Писатели многих школ мысли совпадали во мнении, что действия отдельных лиц часто имели своим результатом то, что не входило в намерения или планы действовавших или даже каких-либо иных лиц. Христианство верит в то, что лицо, действующее из своих часто эгоистичных побуждений, является бессознательным проводником воли Бога. Теория Мандевиля “личные грехи — общественное благо” была ранним и преднамеренно парадоксальным выражением этого открытия. “Скрытая рука” Адама Смита и “лукавство разума” Гегеля, направляющие отдельных лиц на совершение того или иного действия во имя достижения своих целей, хотя при этом такие отдельные лица верят в то, что они действуют по своему желанию, слишком известны, чтобы нуждаться в цитировании. “В общественном производстве своих средств производства, — писал Маркс в предисловии к своей “Критике политической экономии”, — люди вступают в определенные и необходимые отношения, которые не зависят от их воли”. “Человек живет осознанно для себя, — писал Толстой в “Войне и мире”, вторя Адаму Смиту, — но является бессознательным инструментом в достижении исторических всеобщих целей человечества” [*L. Tolstoy, War and Peace, ix, гл. 1*]. И здесь, завершая эту достаточно длинную антологию, приведем высказывание Батерфилда: “В природе исторических событий есть что-то, поворачивающее ход их развития в сторону таким образом, как не планировало ни одно человеческое существо” [*H. Butterfield, The Englishman and His History, (1944), с. 103*]. С 1914 года, после столетия лишь небольших локальных войн, мы имели две главные мировые войны. Было бы спорным

объяснение этого феномена тем, что в первой половине двадцатого века больше людей хотело войны или меньше людей было за мир, чем по сравнению с тремя четвертями века девятнадцатого. Трудно поверить, что какой-нибудь индивид хотел или желал огромной экономической депрессии 30-х гг. И все же, они несомненно были вызваны действиями индивидов, сознательно преследовавших совершенно разные цели. Не всегда диагноз расхождения между намерениями лица и последствиями его действий нуждается в ретроспекции историка. “Он не собирается идти на войну, — писал Лодж о Вудро Вильсоне в марте 1917 года, — но я думаю, его понесет на нее потоком событий” [*Цитируется по V.W.Tuchman, The Zimmerman Telegram (Нью-Йорк, 1958), с.180*]. Вопреки всем свидетельствам можно предполагать, что история может быть написана на основе объяснений, “представленных в терминах человеческих намерений” [*Фраза цитируется по I.Berlin, Historical Inevitability, (1954), с.7, где отстаивается точка зрения на то, что история пишется в таких терминах*], или “в объяснении намерений, данных самими действующими лицами, в объяснении того, почему, по их мнению, они действовали именно так, а не иначе”. Факты истории на деле являются фактами об отдельных лицах, но не о действиях отдельно взятых индивидов, выполненных изолированно от других, и не о мотивах, реальных или воображаемых, по которым, как считают такие отдельные лица, они действовали. Это факты об отношениях между индивидами в обществе и об общественных силах, которые возникают в результате действий индивидов, часто отличающихся, а иногда прямо противоположных тем результатам, которых они сами стремились достичь.

Одной из наиболее серьезных ошибок взгляда Колингвуда на историю, который я обсуждал в своей последней лекции, было предположение, что предшествующая действию мысль, которую

обязан исследовать историк, была мыслью отдельно взятого действующего лица. Это ложное предположение. Историк должен исследовать, чем вызвано то или иное действие; и осознанная мысль или мотив действующего индивида могут не иметь к этому никакого отношения.

Здесь мне следует сказать что-нибудь о роли в истории бунтовщика или диссидента. Поддержание популярной точки зрения индивида, восстающего против общества, значило бы возврат к ложной антитезе между обществом и индивидом. Ни одно общество не является полностью однородным. Каждое общество является ареной социальных конфликтов, и восстающие против авторитетов лица являются продуктами и отражением этого общества, так же, как и те, что его поддерживают. Ричард Второй и Екатерина Великая представляли мощные общественные силы в Англии четырнадцатого века и России восемнадцатого, но в равной степени они были представлены и Уоттом Тайлером и Пугачевым, лидером великого бунта рабов. И монархи, и бунтовщики в одинаковой степени были продуктами конкретных условий своего времени и страны. Описание Уотта Тайлера и Пугачева как индивидов, восставших против общества, было бы ложным упрощением. Будь они лишь бунтовщиками против общества, историки никогда бы о них не услышали. Они обязаны своей ролью в истории множеству своих последователей и являются значительным общественным явлением, или вообще никем не являются. Или давайте возьмем выдающегося бунтовщика и индивидуалиста на более высоком уровне. Мало кто прореагировал против общества своего времени так яростно и радикально, как это сделал Ницше. И все же Ницше был прямым продуктом европейского или, более точно, германского общества — феномена, который не мог иметь место в Китае или Перу. Поколению после смерти Ницше стало более очевидным, чем его со-

временникам, насколько сильны были общественные силы Европы, и особенно Германии, выразителем которых был этот человек; и Ницше стал более значительной фигурой в глазах последующих поколений, чем в глазах своих современников.

Роль бунтовщика в истории имеет аналогии с ролью великого человека. Историческая теория великого человека — частный пример школы хорошей королевы Бесс — в последнее время вышла из моды, хотя иногда она все еще приподнимает свою непривлекательную голову. Редактор серии популярных учебников по истории, выпущенных после второй мировой войны, призывал своих авторов “открыть значительную историческую тему, описывая биографии великих людей”; и г-н Д.П.Тейлор сказал нам в одном из своих второстепенных эссе, что “история современной Европы может быть описана через описание трех ее титанов: Наполеона, Бисмарка и Ленина” [*A.J.P.Taylor, From Napoleon to Stalin (1950), с. 74*], хотя в своих более серьезных работах он таких опрометчивых идей не высказывает. Какова роль великого человека в истории? Великий человек является индивидом и, будучи выдающимся индивидом, он также является социальным явлением огромной значимости. “Это очевидная истина, — заметил Гиббон, — что времена должны быть подходящими для выдающихся характеров и что гений Кромвеля или Ретца может сейчас оказаться в забвении” [*Gibbon, Decline and Fall of the Roman Empire, гл. ixх*]. Маркс в “Восемнадцатом Брюмера Луиса Бонапарта” продиагностировал обратное явление: “Классовая война во Франции создала обстоятельства и отношения, которые позволили вопиющей посредственности расхаживать в одеждах героя”. Если бы Бисмарк родился в восемнадцатом веке — абсурдная гипотеза, поскольку тогда он не был бы Бисмарком — он бы не объединил Германию и мог бы вообще не стать великим человеком. Но нет необходимости, я присоеди-

няюсь здесь к Толстому, “принижать великих людей до уровня ярлыков, называющих события”. Иногда, конечно, культ великого человека может иметь зловещие последствия. Сверхчеловек Ницше — фигура отвратительная. Нет нужды напоминать мне о Гитлере или печальных последствиях “культа личности” в Советском Союзе. Но в мои цели не входит обесценивание величия великих людей: я также не согласен с утверждением, что “великие люди — почти всегда плохие люди”. Взгляд, от которого я хотел бы предостеречь, — это взгляд, ставящий великих людей вне истории и представляющий их как тех, что навязывают себя истории в силу своего величия, как тот “человечек из шкатулки, чудом возникающий из неизвестности для того, чтобы прервать реальный ход истории” [V.G.Childe, *History* (1947), с. 43]. Даже сегодня я не знаю классического описания лучше, чем у Гегеля:

“Великий человек времени — это тот, который может сформулировать словами волю своего времени, сказать своему времени, какова его воля, и привести эту волю в исполнение. То, что он делает — это сердце и суть его времени; он материализует свое время” [*Philosophy of Right* (перевод на англ., 1942), с. 295].

Д-р Левис имеет в виду что-то подобное, когда он говорит, что великие писатели “значимы в смысле того, что они повышают степень осознания людьми своего времени” [F.R.Leavis, *The Great Tradition* (1948), с. 2]. Великий человек всегда представляет либо существующие силы, либо силы, которым он помогает укрепиться, чтобы бросить вызов существующим силам. Но более высокая степень творчества может быть приписана скорее тем великим людям, которые, как Кромвель и Ленин, помогли сформировать силы, приведшие к их величию, чем тем, которые, подобно Наполеону или Бисмарку, пришли к величию на волне уже существующих сил. Не следует также забывать тех великих людей, которые стояли слишком впереди своего времени, чтобы

быть оцененными своим собственным поколением и которые получили признание лишь последующих поколений. Мне кажется важным признать в великом человеке выдающуюся личность, являющуюся одновременно и продуктом, и агентом исторического процесса, одновременно выступающую и как представитель, и как создатель общественных сил, которые меняют облик мира и мышление людей.

В таком случае история, в обоих смыслах слова — и в смысле проводимого историком исследования, и в смысле фактов прошлого, которые он исследует, — является процессом социальным, в который индивиды вовлечены как социальные существа; а воображаемая антитеза между обществом и личностью — это не более, чем смущающий наши умы отвлекающий маневр. Взаимодействие между историком и фактами, которое я называю диалогом настоящего с прошлым, есть диалог не между абстрактными и конкретными индивидами, но между обществом дня сегодняшнего с обществом дня вчерашнего. История, выражаясь словами Беркхардта, “есть запись того, что одно время находит замечательным в другом” [*D.Burckhardt, Judgements on History and on Historians (1959), c.158*]. Прошлое понятно нам только в свете настоящего; и мы можем полностью понять настоящее лишь в свете прошлого. Двойной задачей истории является помочь человеку понять общество прошлого и лучше овладеть знанием об обществе настоящего.

3. История, наука и мораль

Когда я был совсем молодым, мне внушили, что, несмотря на свою внешность, кит — это не рыба. Сейчас эти вопросы классификации волнуют меня намного меньше; и меня не слишком беспокоят уверения в том, что история — это не наука. В данном терминологическом вопросе проявляется эксцентричность английского языка. В любом другом европейском языке эквивалент слова “наука” без всякого сомнения включает историю. Но в англоязычном мире это вопрос, дебатлируемый в течение долгого времени, и поднимаемые в ходе этих дебатов проблемы могут послужить хорошим введением к проблеме метода в истории.

В конце восемнадцатого века, когда наука внесла столь внушительный вклад как в знание человека о мире, так и в его знание собственных физических характеристик, многие начали задаваться вопросом о том, может ли наука углубить знания человека и об обществе. Понятие общественных наук, в том числе и истории, развивалось постепенно в течение всего девятнадцатого века; и метод, которым наука изучала мир природы, был применен к изучению дел человеческих. На протяжении первой части этого периода преобладала ньютоновская традиция. Общество, как и мир природы, воспринималось как механизм; все еще на слуху название книги Герберта Спенсера “Социальная статика”, опубликованной в 1851 году. Воспитанный в этой же традиции

Бертран Рассел позже вспоминал период, когда он надеялся на то, что появится “математика человеческого поведения, наука столь же точная, как и математика машин” [B.Russel, Portraits from Memory (1958), с.20]. Тогда Дарвин произвел другую научную революцию; и социологи, поступая по примеру биологов, начали считать общество организмом. Но настоящее значение дарвинской революции заключалось в том, что Дарвин, завершая то, что Лайель уже начал делать в геологии, ввел историю в число наук. Наука стала заниматься не чем-то статическим и надвременным [Уже в 1874 году Бредли отграничивал науку от истории как то, что занималось вневременным и “неизменным” (F.H.Bradley, Collected Essays, 1935, i, с.36)], а процессом изменения и развития. Эволюция в науке подтвердила и дополнила прогресс истории. Однако, не случилось ничего, что бы изменило индуктивный взгляд на исторический метод, который описан в моей первой лекции: сначала соберите факты, затем интерпретируйте их. Он без сомнения принимался и как научный метод. Именно этот взгляд явно имел в виду Бюри, когда, в завершение своей инаугурационной речи в январе 1903 года, он описал историю как “науку, не больше и не меньше”. Через пятьдесят лет после того, как Бюри произнес свою инаугурационную речь, это мнение стало вызывать серьезные возражения. В 30-х годах Колингвуд в своих трудах очень старался провести четкую грань между миром природы, как объектом научного исследования, и миром истории; и во время этого периода афоризм Бюри цитировался лишь как объект насмешки. Но тогда историки не замечали, что сама наука претерпела глубокие революционные изменения, что заставляет нас думать, что Бюри был более прав, чем мы предполагали, хотя и по другой причине. То, что Лайель сделал для геологии, а Дарвин для биологии, теперь было сделано для астрономии, ставшей наукой о том, как вселенная стала

тем, что она есть; и современные физики постоянно твердят нам, что то, что они изучают, есть не факты, а события. Историк у извинительно сейчас чувствовать себя в мире науки более комфортно, чем сто лет назад.

Давайте сначала рассмотрим научные понятия. На протяжении восемнадцатого и девятнадцатого веков ученые предполагали, что законы природы — Ньютоновские законы движения, закон притяжения, закон Бойля, закон эволюции, и так далее — были открыты и прочно установлены и что делом ученого было открывать и устанавливать все новые законы, подобные этим, путем индуцирования наблюдаемых фактов. Слово “закон” спустилось к нам с облаков славы Галилея и Ньютона. Люди, изучающие общество, осознанно или неосознанно желающие утвердить научный статус своих исследований, восприняли тот же самый язык и сочли, что они следуют той же самой процедуре. Политические экономисты, кажется, были первыми, кто установил закон Грэшема, а Адам Смит — законы рынка. Берке апеллировал к “законам коммерции, которые являются законами природы и, следовательно, даны от бога” [*Thoughts and Details on Scarcity (1795)*, в *The Works of Edmund Burke (1846)*, vi, с. 270; Берке вывел, что “обеспечение бедных теми предметами необходимости, которых Божественное Провидение сочло нужным лишить их, не входит в компетенцию правительства как такового, или богатых как таковых”]. Мальтус предлагал поставить на обсуждение вопрос о населении; Лассаль — железный закон о заработной плате; а Маркс в предисловии к “Капиталу” претендовал на открытие “экономического закона движения современного общества”. В заключительной части книги *The History of Civilization* Бакль выразил убежденность в том, что ход развития человеческих дел “был пронизан одним замечательным принципом всеобщей и не позволяющей отклонений регу-

лярности”. Сегодня эта терминология звучит столь же старомодно, сколь и безапелляционно; но она звучит так и для естествоведника, и для социолога. За год до того, как Бюри прочел свою инаугурационную лекцию, французский математик Анри Пуанкаре опубликовал маленький томик под названием *La Science et l’hypothese*, который произвел революцию в области научного мышления. Основной тезис Пуанкаре сводился к тому, что провозглашаемые учеными общие утверждения, если они не являются лишь определениями или замаскированными условностями употребления языка, есть гипотезы, предназначенные для кристаллизации и организации дальнейшего мышления, которые должны подвергаться подтверждению, модификации или опровержению. Сейчас все это стало обыденным. Хвастливое утверждение Ньютона “*Hypotheses non fingo*” сегодня потеряло свой смысл; и хотя ученые, даже включая социологов, все еще говорят о законах, отдавая дань прошлому, они уже больше не верят в их существование в том смысле, в каком этот термин повсеместно принимался на веру учеными восемнадцатого и девятнадцатого веков. Признается, что ученые делают открытия и приобретают новые знания не путем установления точных и всеобъемлющих законов, а путем выдвижения гипотез, открывающих пути новым исследованиям. Стандартный учебник по научному методу двух американских философов описывает научный метод как “главным образом круговой”:

“Мы получаем доказательства наших принципов, обращаясь к эмпирическому материалу, к тому, что обозначается как “факт”, и мы отбираем, анализируем и интерпретируем эмпирический материал на основе принципов” [*M.R. Cohen and E. Nagel, Introduction to Logic and Scientific Method (1934), c. 596*].

Термин “взаимный” был бы, наверное, более предпочтителен, чем “круговой”, поскольку через этот процесс взаимодействия

между принципами и фактами, между теорией и практикой, результат не должен возвращаться к тому же самому месту, но должен двигаться дальше к новым открытиям. Все мышление требует признания определенных, основанных на наблюдениях предположений, которые делают научное мышление возможным, но в ходе такого мышления подвергаются пересмотру. Эти гипотезы могут быть вполне валидными в некоторых контекстах или для некоторых целей, но могут оказаться непригодными для других контекстов или целей. Во всех случаях критерием их научной ценности является опыт. Методы Рудерфорда были недавно описаны одним из его самых выдающихся учеников и соратников:

"Его тянуло к знанию того, как работает феномен ядра, в том смысле, в котором можно говорить о знании того, что происходит на кухне. Я не верю, что он искал объяснения в классической теоретической манере, используя некоторые базовые законы; он довольствовался знанием того, что происходит" [Sir Charles Ellis in *Trinity Review (Cambridge, Lent Term, 1960), c.14*].

Это описание вполне подходит и для историка, отказавшегося от поиска базовых законов и довольствующегося пониманием того, как происходят вещи.

Статус гипотез, используемых историком в процессе проводимого им исследования, представляется весьма аналогичным статусу гипотез, используемых учеными. Возьмем, к примеру, знаменитый диагноз Макса Вебера, который он поставил отношению между протестанством и капитализмом. Никто сегодня не назовет его законом, хотя в более ранние времена он мог бы приветствоваться в качестве такового. Это гипотеза, которая, хотя и видоизменившись в ходе исследования, к которому она же и подтолкнула, без сомнения расширила наше понимание обоих этих движений. Или возьмите схожее утверждение Маркса: "Руч-

ная мельница дает нам общество феодального лорда, паровая — общество индустриального капитализма” [*Marx-Engels, Gesamtausgabe, I, vi, с. 179*]. В современной терминологии это не закон, хотя Маркс был бы за то, чтобы считать его таковым, но плодотворная гипотеза, намечающая пути дальнейшего исследования и новых открытий. Такие гипотезы являются незаменимым орудием мысли. Хорошо известный немецкий экономист начала 900-х Вернер Сомбарт признался в чувстве тревоги, охватившем тех, кто отказался от марксизма.

“Когда, — писал он, — мы теряем удобные формулы, которые до сего времени были нашим проводником среди сложностей бытия... мы чувствуем себя утопающими в море фактов до тех пор, пока не найдем новую опору или не научимся плавать” [*W.Sombart, The Quintessence of Capitalism (пер. на англ., 1915), с.354*].

К этой категории относится и спор о периодизации истории. Разделение истории на периоды — не факт, а необходимая гипотеза или орудие мысли, надежное лишь в меру надежности ее интерпретации. Историки, расходящиеся во мнении относительно того, когда заканчивается период средних веков, расходятся в своей интерпретации определенных событий. Вопрос не сводится к фактам, но он и не бессмыслен. Разделение истории на географические секторы тоже не факт, а гипотеза: о европейской истории в одном контексте можно говорить как о достоверной и плодотворной гипотезе, а в другом — как о вводящей в заблуждение и вредной. Большинство историков считают, что Россия является частью Европы; некоторые это страстно отрицают. О предубеждении историка можно судить по гипотезе, которую он берет на вооружение. Я должен процитировать одно общее место по методам социологии, поскольку оно взято из работ великого социолога, имеющего физическое образование. Джордж Со-

рель, работавший инженером до того времени, когда после сорока он начал писать о проблемах общества, подчеркивал необходимость изолировать отдельные элементы ситуации, невзирая на риск чрезмерного упрощения:

"Нужно продвигаться, — писал он, — наощупь; нужно проверить возможные и пристрастные гипотезы и довольствоваться временными приближениями к истине, всегда оставляя дверь открытой для прогрессивных поправок" [*G.Sorel, Matériaux d'une théorie du prolétariat (1919), с.7*].

Это положение сильно отличается от положения в девятнадцатом веке, когда ученые и историки вроде Актона с нетерпением жаждали установления истины на основе собранных и хорошо проверенных фактов, которая разрешила бы раз и навсегда все дискутируемые вопросы. Сегодня и ученые, и историки питают более скромную надежду на продвижение вперед от одной фрагментарной гипотезы к другой, изолируя свои факты посредством интерпретации и проверяя свою интерпретацию на фактах; и способы, которыми они это делают, на мой взгляд, разнятся лишь незначительно. В своей первой лекции я цитировал замечание профессора Барраклау о том, что история "отнюдь не фактуальна, она представляет собой серию общепринятых суждений". Когда я работал над этими лекциями, один физик из этого университета в программе Би-Би-Си определил научную истину как "утверждение, публично признанное экспертами" [*Dr. J.Ziman in the Listener, 18 августа 1960*]. Ни одно из этих определений не может быть признано полностью удовлетворительным — по тем причинам, которые будут вскрыты мною при обсуждении вопроса объективности. Но поразительно то, что и историк, и физик сформулировали одну и ту же проблему почти в одних и тех же словах, совершенно независимо друг от друга.

Следует, однако, признать, что аналогии являются печально известными ловушками для неосторожных: и я бы хотел внимательно взвесить все аргументы, выдвигаемые в пользу того, что при всей значительности различий между математическими и естественными науками или между различными науками внутри этих категорий можно провести фундаментальное различие между этими науками и историей, и что это различие не позволяет назвать историю — возможно и другие так называемые общественные науки — наукой. Эти возражения, более или менее убедительные, вкратце сводятся к тому, что: 1) история имеет дело исключительно с уникальным, а наука — с общим; 2) история не преподает никаких уроков; 3) историю невозможно предсказать; 4) история по необходимости субъективна, поскольку человек наблюдает сам себя; и 5) история, в отличие от науки, затрагивает вопросы религии и морали. Ниже я попытаюсь рассмотреть каждый из этих пунктов по отдельности.

Во-первых, неверно предполагать, что история имеет дело с уникальным, а наука — с общим и универсальным. Это взгляд берет начало от Аристотеля, объявившего, что поэзия “более философична” и “более серьезна”, чем история, поскольку в поэзии отражаются истины общие, а в истории — частные [*Poetics*, гл. ix]. Множество писателей более позднего времени, вплоть до Колингвуда включительно [*R.G.Collingwood, Historical Imagination (1935), с. 5*], проводили аналогичное различие между наукой и историей. Это, скорее всего, зиждется на недопонимании. Все еще остается в силе знаменитое высказывание Гоббса: “Ничто в мире не универсально, кроме имен, потому что названные вещи каждая в отдельности индивидуальна и единична” [*Leviathan, i, iv*]. Это несомненно справедливо в отношении естественных наук: ни одна из двух геологических формаций, ни одна пара животных одного вида, ни одна пара атомов не являются

идентичными. Аналогичным образом, не идентичны никакие два исторических события. Но настаивание на уникальности истории может иметь тот же парализующий эффект, что и банальность, позаимствованная Моором у архиепископа Батлера, одно время столь популярная среди лингвофилософов: “Все является тем, что оно есть, а не другой вещью”. Вступив на этот путь, вы скоро достигнете своего рода философской нирваны, в которой ничто сколько-нибудь значительное не может быть сказано ни о чем.

Само использование языка обязывает историка, как и ученого, к обобщению. Пелопонесская и вторая мировая войны очень отличались друг от друга, и каждая была уникальна. Но историк называет их обеих войнами, и лишь педант может возражать против этого. Когда Гиббон писал и о введении христианства Константином, и подъеме Ислама как о революциях [*Decline and Fall of the Roman Empire*, гл. xx, гл.1], он обобщал два уникальных события. Современные историки делают то же самое, когда пишут об Английской, Французской, Русской и Китайской революциях. Историка на самом деле интересует не уникальное, но то общее, которое проявляется в уникальном. В 20-х гг. дискуссии историков по поводу причин войны 1914 года обычно базировались на предположении, что она произошла либо по вине дипломатов, работающих втайне и неподконтрольных общественному мнению, либо благодаря неудачному разделению мира на территориальные суверенные государства. В 30-х гг. обсуждения базировались на мнении, что она произошла из-за соперничества между империалистическими странами в их стремлении поделить между собой мир в эпоху упадка капитализма. Все эти дискуссии сводились к обобщению причин войны вообще или по меньшей мере войны в условиях двадцатого века. Историк постоянно использует обобщение для проверки своих доказательств. Если нет бесспорных доказательств того, что Ричард

убил принцессу в Таузере, историк спрашивает себя — возможно, скорее неосознанно, чем осознанно — было ли в привычках правителей того времени ликвидировать потенциальных претендентов на их трон; и его суждения будут, совершенно справедливо, подвержены влиянию этого обобщения.

Читатель, как и писатель, истории хронически привержен обобщениям, он постоянно примеряет наблюдения историка к другим знакомым ему историческим контекстам — или, возможно к своему времени. Когда я читаю "Французскую революцию" Карлейля, я ловлю себя снова и снова на том, что занимаюсь обобщением его комментариев, пропуская их через линзу своего собственного интереса к Русской революции. Возьмите к примеру это высказывание об ужасе:

"Ужасно на земле, познавшей справедливое равенство, и не столь неестественно на земле, которая никогда его не знала".

Или, в еще большей степени, это:

"К несчастью, хотя и естественно, история этого периода как правило писалась в истерике. Преобладают преувеличения, проклятия, причитания; и в целом, мрак" [*History of the French Revolution, I, v, гл. 9; III, i, гл. I*].

Или вот еще, на этот раз из Беркхардта, по поводу развития современного государства в шестнадцатом веке:

"Чем моложе государство, тем менее оно статично — прежде всего, потому, что создавшие его привыкли к быстрому движению вперед, и потому, что они сами по себе являются и будут оставаться новаторами; а во-вторых, потому, что силы, разбуженные ими или подчинившиеся им, могут быть использованы лишь посредством продолжения акта насилия" [*J. Burckhardt, Judgements on History and Historians (1959), с. 34*].

Нелепо утверждать, что истории чуждо обобщение; история процветает обобщениями. Как четко сказал г-н Элтон в новой

Кембриджской современной истории, “именно обобщение отличает историка от собирателя исторических фактов” [*Cambridge Modern History, ii, (1958), с.20*]; он мог бы также добавить, что то же самое отличает ученого-естественника от натуралиста или коллекционера образцов. Но не полагайте, что обобщение позволяет нам конструировать какую-то объемную схему истории, под которую следует подгонять события. И, поскольку Маркс является одним из тех, кого часто обвиняют в конструировании или вере в такую схему, я процитирую отрывок из одного письма, в котором он правильно освещает данный вопрос:

“Поразительно схожие, но случающиеся в различных исторических обстоятельствах события ведут к совершенно несхожим результатам. Изучив каждое из них по отдельности и затем сравнив результаты анализа, легко найти ключ к пониманию этого явления; но абсолютно невозможно достичь такого понимания, используя картонную рамку какой-либо историко-философской теории, которая претендует на то, что стоит над историей” [*Маркс и Энгельс, Труды (русское издание), xv, с. 378. Письмо, из которого приводится данный отрывок, появилось в русском журнале “Отечественные записки” в 1877. Как может показаться, профессор Поппер ассоциирует Маркса с тем, что он называет “центральной ошибкой историзма”, то есть с убеждением, что исторические тенденции или направления “могут быть выведены непосредственно из одних лишь универсальных законов” (The Poverty of Historicism, 1957, с. 128—129; это как раз то, что отрицает Маркс)*].

История занимается соотношением между частным и общим. Как историк, вы не можете разделять их или отдавать предпочтение одному в ущерб другому, как не можете отделить факты от интерпретации.

Здесь, по-видимому, будет уместно сделать краткое замечание по поводу соотношения истории и социологии. В настоящее время социологии грозят две опасности — опасность стать ультратеоретической и опасность стать ультраэмпирической. Первая сводится к опасности затеряться в абстрактных и бессмысленных обобщениях относительно общества в целом. Общество с большой буквы — такое же порочное заблуждение, как и История с большой буквы. Эта опасность усугубляется теми, кто приписывает социологии исключительную задачу обобщения уникальных событий, записанных в истории: предлагалось даже считать, что социология отличается от истории тем, что имеет “законы” [*Таким представляется взгляд профессора Поннера (The Open Society, изд.2, 1952, ii, с.322). К сожалению, он дает пример социологического закона: “Научный прогресс достигается там, где свобода мысли и выражения мысли эффективно защищена правовыми институтами и институтами, обеспечивающими публичность обсуждения”. Это было написано в 1942 или 1943 году и было явно вызвано верой в то, что западные демократии, в силу своих институциональных порядков, остаются в авангарде научного прогресса — вера, которая с тех времен была рассеяна или сильно подорвана событиями в Советском Союзе. Это утверждение не было даже убедительным обобщением, не говоря уж о том, чтобы быть законом*]. Другую опасность предвосхищал Карл Мангейм почти поколение назад, она сохранилась и по сей день: социология “расщеплена на серии дискретных технических проблем социальной адаптации” [*K.Mannheim, Ideology and Utopia (пер. на англ., 1936), с. 228*]. Социология занимается историческими обществами, каждое из которых уникально и сформировано особыми историческими предпосылками и условиями. Но пытаться избежать обобщения и интерпретации, ограничиваясь лишь так называемыми

техническими проблемами перечисления и анализа, означало бы ограничение ролью бессознательного апологета статичного общества. Для того, чтобы социология стала плодотворной областью исследования, каковой является история, она должна заниматься соотношением частного и общего. Но, помимо этого, она должна стать очень динамичным изучением не общества в состоянии покоя (ибо такого общества не существует), а социальных перемен и социального развития. Что касается всего остального, я бы сказал так: чем более социологичной станет история и чем более историчной — социология, тем лучше для обеих. Пусть граница между ними остается открытой для двустороннего движения.

Вопрос генерализации тесно взаимосвязан с моим вторым вопросом: уроками истории. Истина об обобщении заключается в том, что через него мы пытаемся извлечь уроки из истории, применить знания, полученные из анализа одного набора событий, к другому: когда мы обобщаем, мы сознательно или бессознательно пытаемся сделать это. Те, кто отвергают обобщение и настаивают на том, что история занимается исключительно уникальным, рассуждая логически, являются теми, кто отрицают, что из истории можно извлечь какие-либо уроки. Но предположение, что человек из истории не учится ничему, опровергается множеством поддающихся наблюдению фактов. Нет более заурядного опыта. В 1919 году в составе британской делегации я присутствовал на Парижской мирной конференции. Все члены делегации верили, что мы можем извлечь урок из опыта Венского конгресса, последнего крупного европейского конгресса по вопросам мира, имевшего место столетие назад. Некто капитан Уэбстер, тогда сотрудник военного ведомства, а сейчас сэр Чарльз Уэбстер, известный историк, написал эссе об этом уроке. Два из его положений сохранились в моей памяти. Одно из них гласит о

том, что, перекраивая карту Европы, опасно пренебрегать принципом самоопределения. Другое — о том, что опасно выбрасывать секретные документы в мусорную корзину, содержимое которой, конечно, может быть куплено секретной службой какой-либо другой делегации. Эти уроки истории воспринимались как евангелие и повлияли на наше поведение. Это тривиальный пример из недавнего прошлого. Но еще легче проследить влияние, оказываемое на сравнительно отдаленное прошлое уроками, извлеченными из прошлого, еще более отдаленного во времени. Каждый знает о воздействии древней Греции на Рим. Но я не уверен, что кто-либо из историков попытался провести точный анализ уроков, извлеченных римлянами или преподносимых как извлеченные ими из истории Эллады. Анализ воздействия уроков истории Ветхого Завета на Западную Европу семнадцатого, восемнадцатого, девятнадцатого веков мог бы дать прекрасные результаты. Без этого трудно понять Английскую революцию пуритан; а концепция избранного народа была важным фактором в подъеме современного национализма. Печать классического образования прочно запечатлелась на новом правящем классе Великобритании девятнадцатого века. Гроте, как я уже отмечал, указывал на Афины, как на образец новой демократии; и я бы хотел увидеть исследование обширных и важных уроков, сознательно или бессознательно преподанных строителям Британской империи историей империи Римской. В моей области творцы Русской революции были под глубоким, если не магнетическим, впечатлением от Французской революции, революции 1848 года, Парижской коммуны 1871. Здесь мне приходит на ум ограничение, налагаемое двойственным характером истории. Усвоение уроков истории никогда не было просто односторонним процессом. Постигание настоящего в свете прошлого означает также постижение прошлого в свете настоящего. В функции ис-

тории входит углубление понимания как настоящего, так и прошлого через их взаимосвязь.

Мой третий пункт касается роли предсказания в истории: говорят, что из истории нельзя извлечь уроки, потому что она, в отличие от науки, не в состоянии предсказывать будущее. Этот вопрос погряз в путине непонимания. Как мы уже видели, ученые больше не горят желанием говорить о законах природы так, как это было раньше. Так называемые научные законы, влияющие на нашу повседневную жизнь, на деле являются утверждениями о тенденциях того, что случится при равенстве других условий или в лабораторных условиях. Они не претендуют на предсказание того, что то или иное конкретное яблоко упадет на землю: оно может быть поймано кем-либо в корзину. Закон оптики, гласящий, что свет движется по прямой линии, не доказывает того, что конкретный луч света не может быть отражен или рассеян каким-либо препятствующим объектом. Но это не означает, что все эти законы не имеют ценности или вообще несостоятельны. Современные теории физики, говорят нам, имеют дело лишь с возможными событиями. Сегодня наука более склонна помнить, что индукция может логически привести лишь к вероятности или разумному убеждению, и больше старается преподносить свои истины в форме общих правил или руководств, состоятельность которых можно проверить лишь на конкретных действиях. "*Science d'ou prevoyance; d'ou action*", как говорит Конт [*Cours de philosophie positive, i, c.51*]. Ключ к вопросу предсказания в истории находится в различии между общим и частным, между универсальным и уникальным. Как мы уже видели, историк обязан обобщать; и обобщая, он обеспечивает общее руководство для будущего действия, которое, не будучи конкретным предсказанием, является тем не менее и полезным, и состоятельным. Но мы не можем предсказывать конкретные со-

бытия, потому что частное уникально и не лишено элемента случайности. Это беспокоящее философов отличие совершенно понятно обычному человеку. Если два — три ребенка в школе заболевают корью, можно сделать вывод о распространении эпидемии; и это предсказание, если вам угодно назвать его так, основано на обобщении прошлого опыта и состоятельно как полезное руководство к действию. Но вы не можете конкретно предсказать, что Чарльз или Мэри заболеют корью. Тем же путем идет и историк. От историка не ждут предсказания революции в Руритании в следующем месяце. Заключение, которое попытается сделать историк, отчасти на базе осведомленности о положении дел в Руритании, отчасти на базе знания истории, будет касаться того, что обстановка в Руритании такова, что в ближайшем будущем может разразиться революция, если кто-либо ее начнет, или если правительство не сделает что-либо во избежание ее; и это заключение может сопровождаться оценкой позиции, отчасти по аналогии с другими революциями, которую разные секторы населения склонны занять. Это предсказание, если мы можем назвать его таковым, может сбыться лишь при развертывании уникальных событий, которые сами по себе непредсказуемы. Но это совсем не означает, что предположения историка относительно будущего ничего не стоят или что они не обладают условной состоятельностью, которая может служить и как руководство к действию, и как ключ к нашему пониманию того, как происходят события. Я не хотел бы утверждать, что выводы социолога или историка можно уподобить выводам физика в смысле степени точности или что превосходство последних можно объяснить большей отсталостью общественных наук. Человеческое существо при любом подходе является наиболее сложным из всех когда-либо известных природных существ, и изучение его поведения может столкнуться с трудностями со-

вершенно иного характера, чем те, что стоят перед естественником. Все, что я хочу сказать, — это то, что их цели и методы не являются фундаментально различными.

В четвертом пункте я ввожу намного более убедительный аргумент в пользу проведения демаркационной линии между социальными науками, включая историю, и естественными. Этот аргумент сводится к тому, что в социальных науках субъект и объект принадлежат к одной и той же категории и взаимно действуют друг на друга. Человек является не только самым сложным и изменчивым из явлений природы, он должен изучаться другими человеческими существами, а не независимыми наблюдателями другого вида. Здесь человек уже не довольствуется, как в биологических науках, изучением своего собственного физического состава и физических реакций. Социологу, экономисту или историку необходимо проникнуть в формы человеческого поведения, в которых задействована воля, для того, чтобы понять, почему люди, являющиеся объектом его изучения, желали действовать так, а не иначе. Этим устанавливается отношение, характерное для истории и социальных наук, между субъектом и объектом наблюдения. Каждое сделанное историком наблюдение пронизано его точкой зрения; история насквозь пропитана релятивизмом. Говоря словами Карла Манхейма, “даже категории, в терминах которых изучается, собирается и организуется опыт, разнятся в зависимости от социальной позиции наблюдателя” [*K. Mannheim, Ideology and Utopia (1936), с. 130*]. Но правда не только в том, что социолог вносит свои предубеждения во все свои наблюдения. Правда также и в том, что процесс наблюдения влияет на объект наблюдения и модифицирует его. А это может происходить двумя путями. Люди, чье поведение становится объектом анализа и предсказания, могут быть заранее предупреждены о нежелательных для них последствиях на-

блюдения и могут быть вынуждены корректировать свои действия, а предсказание, какой бы верной ни была его аналитическая основа, может оказаться самоуничтоженным. Одна из причин того, почему история редко повторяется среди исторически грамотных людей, заключается в том, что во второй раз действующие лица отдают себе отчет о возможности повторения развязки первого, и их действия строятся с учетом этого знания [*Этот аргумент был развит автором в The Bolshevik Revolution, 1917—1923, i (1950), с. 42*].

Большевики знали, что Французская революция закончилась Наполеоном, и опасались, что их собственная революция может закончиться таким же образом. Поэтому они не доверяли Троцкому, больше всех из их лидеров напоминавшему Наполеона, и доверяли Сталину, который походил на Наполеона менее всех. Но этот процесс может работать и в обратном направлении. Экономист, путем научного анализа существующих экономических условий предсказывающий приближающийся бум или упадок, если его авторитет высок и аргументы убедительны, самим фактом своего предсказания может способствовать тому, что оно сбудется. Политолог, который, исходя из своих исторических наблюдений, питает убеждение о недолговечности тирана, может тем самым способствовать свержению деспота. Каждому знакомо поведение кандидатов на выборах, которые предсказывают свою собственную победу, сознательно делая исполнение своего предсказания более реальным; можно подозревать, что экономисты, политологи и историки, решаясь выступить с предсказанием, иногда питают неосознанную надежду на ускорение его реализации. Все, что можно с уверенностью утверждать об этих сложных отношениях, — это то, что взаимодействие между наблюдателем и наблюдаемым, между социологом и его данными, между историком и его фактами непрерывно и непрерывно

меняется; и это представляется отличительной чертой истории и социальных наук.

Вероятно, я должен здесь отметить, что некоторые физики в последние годы говорили о своих науках вещи, еще более наводящие на поразительные аналогии между физической вселенной и миром историка. Во-первых, считается, что их результаты выводятся на базе принципа неопределенности или неточности. В своей следующей лекции я затрону тему характера и ограниченный так называемого детерминизма в истории. Но независимо от того, коренится ли причина неопределенности современной физики в природе вселенной, или она есть лишь проявление нашего до сих пор несовершенного знания о ней (этот тезис все еще дебатруется), я все равно буду испытывать то же самое сомнение по поводу обнаружения в этом значимых аналогий с нашей способностью делать исторические предсказания, как и несколько лет назад по поводу попыток некоторых энтузиастов увидеть в нем доказательство действия свободной воли во вселенной. Во-вторых, нам говорят, что в современной физике системы измерения расстояния в пространстве и промежутков времени зависят от движения самого “наблюдателя”. В современной физике все измерения подвергаются присущим им вариациям из-за невозможности установления постоянного соотношения между “наблюдателем” и наблюдаемым объектом; как тот, так и другой вводятся в окончательный результат наблюдения. Но, в то время как эти описания применимы с минимальным различием к отношениям между историком и объектами его наблюдений, меня не удовлетворяет то, что суть этих отношений в реальном смысле сопоставима с природой отношений между физиком и его вселенной; и хотя в принципе я за уменьшение, а не за увеличение различий между подходами историка и ученого, мало толку пытаться устранить эти различия путем проведения несовершенных аналогий.

При всей справедливости мнения о том, что историк или социолог по-другому соотносятся с объектом своего изучения, чем физик, и что вопросы, поднимаемые соотношением объекта и субъекта, отличаются много большей сложностью, это еще не все. Все классические теории знания, преобладавшие в семнадцатом — девятнадцатом веках, признавали резкую дихотомию между знающим субъектом и познаваемым объектом. Каким бы ни воспринимался этот процесс, сконструированная философами модель показывала субъект и объект, человека и внешний мир, отделенными и разделенными. Это было великое время рождения и развития науки; теории познания были под сильным влиянием мировоззрения пионеров науки. Человек резко противопоставлялся внешнему миру. Он боролся с ним как с чем-то неподатливым и потенциально враждебным — неподатливым, потому что его было трудно понять, потенциально враждебным, потому что его трудно было освоить. С успехом современной науки этот взгляд претерпел радикальные изменения. Сегодня ученый намного меньше склонен думать о силах природы как о том, с чем нужно бороться, он воспринимает их как что-то, с чем надо сотрудничать и что надо приручить для своих целей. Классические теории знания уже не устраивают современную науку, и менее всего — физику. Неудивительно, что за последние пятьдесят лет философы начали ставить их под сомнение и признавать, что процесс познания отнюдь не отграничивает резко субъекта от объекта, а напротив, предполагает некоторую их взаимосвязь и взаимозависимость. Это, тем не менее, очень важно для социальных наук. В своей первой лекции я предположил, что изучение истории трудно вписывается в традиционную эмпирическую теорию познания. Сейчас мне хотелось бы выдвинуть точку зрения, что социальные науки в целом несовместимы с любой теорией познания, строго разграничивающей субъект и

объект, поскольку в них человек выступает и как объект, и как субъект, и как исследователь, и как исследуемое. В своих попытках самоутвердиться как связная доктрина социология правомерно выделила в своем корпусе раздел, называемый социология знания. В этом, однако, она не продвинулась далеко — главным образом, как я подозреваю, потому, что она довольствовалась совершением кругов внутри клетки, называемой традиционной теорией познания. Если философы, под влиянием сначала современной физической науки, а сейчас — современной социологии, начинают вырываться из этой клетки и конструировать более современную модель процессов познания, чем старая модель бильярдного шара воздействия данных на пассивное сознание, это хороший знак для социальных наук вообще, и истории в частности. Это важный пункт, к которому я вернусь позже, при рассмотрении понятия объективности в истории.

И последнее, но немаловажное: я должен обсудить мнение о том, что история, близко соприкасающаяся с проблемами религии и морали, в силу этого отличается от наук в целом и, возможно, от социальных наук. О соотношении истории и религии я скажу лишь то немногое, что считаю необходимым для пояснения моей собственной позиции. Быть серьезным астрономом вполне согласуется с верой в бога, который создал и упорядочил вселенную. Но это не согласуется с верой в такого бога, который произвольно вмешивается в изменение курса планет, отсрочивает затмения, изменяет правила космической игры. Точно также иногда предлагается считать, что серьезный историк может верить в бога, который упорядочил и придал смысл ходу истории в целом, хотя он не может верить в бога ветхозаветного образца, который вмешивается, заставляя убивать амаликитян, или мошеничает с календарем, удлиняя световой день для блага армии Иисуса Навина. Не может он также взывать к богу при объ-

яснении того или иного исторического события. Отец д'Арси в своей недавней книге попытался провести это различие:

"Не годится студенту отвечать на каждый вопрос истории, видя в этом перст божий. До тех пор, пока мы не зайдем так далеко, как большинство, в приглаживании земных событий и человеческих драм, нам не разрешено привносить более широкие соображения" [*M.C. D'Arcy, The sense of History: Secular and Sacred (1959), с. 164. Его предвосхитил Полибиус: "Всегда, когда возможно найти причину случившегося, не следует прибегать к богам"* (цитируется по *K.von Fritz, The Theory of the Mixed Constitution in Antiquity, Нью-Йорк, 1954, с. 390*)].

Корявость этой точки зрения в том, что она рассматривает религию в качестве джокера в колоде карт, оставляемого на самый серьезный случай, когда не обойтись никак иначе. Карл Барт, лютеранский теолог, сделал это лучше, объявив о полном отделении священной и светской истории и вручив последнюю мирянам. Профессор Батерфилд, если я правильно понял его, имеет в виду то же самое, когда говорит о "технической" истории. Техническая история — это единственный вид истории, которую вы или я способны когда-либо написать или которую он когда-либо написал. Но используя этот странный эпитет, он оставляет за собой право верить в эзотерическую или провиденциальную историю, о которой остальным можно не беспокоиться. Писатели типа Бердяева, Нибура и Маритена стремятся сохранить автономность статуса истории, но настаивают, что конец или цель истории лежит вне ее. Лично мне трудно примирить целостность истории с верой в какую-то сверхисторическую силу, от которой зависят ее значение и значимость — будь эта сила Богом избранного народа, христианским богом, скрытой рукой деиста или мировым духом Гегеля. Для целей этих лекций я предполагаю, что историк должен решать свои проблемы, не прибегая к лю-

бой из этих *deus ex machina*, что история есть игра, в которую играют, так сказать, без джокера в колоде.

Отношение истории к морали еще более сложно, и все обсуждения этого вопроса в прошлом страдали от ряда неясностей. Сегодня вряд ли необходимо спорить, что от историка не требуется производить моральную оценку личной жизни персонажей его рассказов. Позиции историка и моралиста не идентичны. Генрих VIII мог быть плохим мужем и хорошим королем. Но первое качество интересует в нем историка лишь постольку, поскольку оно оказало влияние на ход исторических событий. Если его моральные недостатки оказали незначительное воздействие на общественные дела, как это было с Генрихом II, историк не имеет необходимости беспокоиться о них. Это справедливо как в отношении достоинств, так и в отношении недостатков. Пастер и Эйнштейн были, как говорят, людьми образцовыми, даже святыми в своей личной жизни. Но, предположим, они были неверными мужьями, жестокими отцами, нещепетильными коллегами, разве от этого их исторические достижения стали бы менее значительными? А именно последние занимают историка. О Сталине говорят, что он вел себя жестоко и бессердечно по отношению к своей второй жене, но как историка по советским делам меня это мало волнует. Это не значит, что личная мораль не имеет значения, или что история морали не является законной частью истории. Но историк не отпускает ремарки в сторону, чтобы выносить моральные приговоры по поводу частной жизни лиц, появляющихся на его страницах. У него другие задачи.

Еще более серьезная неясность возникает в связи с вопросом морального осуждения публичных действий. Вера в долг историка судить морально своих действующих лиц имеет длинную родословную. Но нигде и никогда она не была столь сильна, как в Британии девятнадцатого века, когда она была укреплена мо-

рализаторскими тенденциями времени и разгулом индивидуализма. Роузбери заметил, что “англичанам хотелось узнать о Наполеоне лишь одно: был ли он хорошим человеком” [*Rosebury, Napoleon: The Last Phase, с. 364*]. Актон в своей переписке с Крейтоном заявил, что “негибкость морального кодекса является секретом авторитета, достоинства и полезности Истории”, и претендовал на то, что сделает историю “арбитром спорящих, гидом блуждающих, защитником того стандарта морали, который постоянно подавляют силы земли и самой религии” [*Acton, Historical Essays and Studies (1907), с.505*], — взгляд, основанный на почти мистической вере Актона в объективность и превосходство исторических фактов, которые явно обязывают историка, во имя Истории как своего рода сверхисторической власти, выносить моральные вердикты индивидам, участвующим в исторических событиях. Эта позиция все еще встречается, и в самых неожиданных формах. Профессор Тойнби описывал захват Муссолини Абиссинии в 1935 году как “преднамеренный личный грех” [*Survey of International Affairs, 1935,ii, 3.*]; а сэр Исайя Берлин, в уже цитированном эссе горячо настаивал на том, что историк обязан “судить Шарлеманя или Наполеона, или Чингисхана, или Гитлера, или Сталина за пролитую ими кровь” [*I.Berlin, Historical Inevitability, с. 76–77. Позиция сэра Исаяи напоминает взгляды стойкого консерватора, юриста девятнадцатого века Фицджереймса Стивена: “Таким образом уголовное право исходит из принципа морального права ненавидеть преступников... Весьма желательно, чтобы преступников ненавидели, чтобы наказания, которым они подвергаются, были задуманы так, чтобы выразить эту ненависть и оправдать их настолько, насколько позволяют общественные средства выражения и удовлетворения здоровых естественных чувств” (A History of the Criminal Law of England, 1883, ii, с. 81–82,*

цит. по L. Radzinowicz, *Sir James Fitzjames Stephen*, 1957, с. 30). Эти взгляды уже не разделяются столь широко криминалистами; но мое возражение против них здесь сводится к тому, что, какими бы состоятельными они ни были во всех других случаях, они не применимы к вердиктам истории]. Этот взгляд был достаточно сурово раскритикован профессором Ноулзом, который в своей инаугурационной речи процитировал осуждение Филипа II (“если есть грехи... которых он не совершал, то лишь потому, что человеку не дано достичь совершенства даже во зле”), и описание короля Джона Стаббом (“испачканный каждым преступлением, которым может опозорить себя человек”) как примеры морального осуждения, право на которое историку не дано: “Историк — не судья, и в еще меньшей степени он — вешающий судья”. [D. Knowles, *The Historian and Character* (1955), с. 4–5, 12, 19]. Но у Кроче можно тоже найти прекрасный абзац по этому поводу, который мне хотелось бы процитировать:

“Обвинение забывает о той большой разнице, что наши трибуналы (судебные или моральные) — это трибуналы дня сегодняшнего, предназначенные для живущих, активных и опасных людей, в то время как те другие люди уже представляли перед трибуналами своего времени и не могут быть осуждены или оправданы дважды. Они не могут нести ответственность перед каким-бы то ни было трибуналом по той простой причине, что они являются людьми прошлого, должны покоиться в прошлом и как таковые могут являться лишь субъектами истории и не могут подлежать никакому суду, кроме того, который призван проникнуть в дух их деяний и понять его... Те, кто под предлогом исторического повествования начинают вести себя как судьи, то осуждая, то оправдывая, лишь потому, что они считают это делом истории... обычно признаются лишенными исторического смысла” [B. Croce, *History as the Story of Liberty* (англ. пер., 1941), с. 47].

И если кто-либо придирается к утверждению о том, что не дело историка вершить моральный суд над Гитлером или Сталиным — или, если угодно, над сенатором Маккарти — это потому, что они были современниками многих из нас, потому, что сотни и тысячи прямо или косвенно пострадавших от их действий все еще живы, и потому, что как раз из-за этого нам трудно подходить к ним в качестве историков и избавиться от других качеств, в которых мы выступаем, которые могли бы оправдать нас в нашем моральном осуждении их дел: в этом одно из препятствий — я бы сказал, главное препятствие — для современного историка. Но что проку от сегодняшнего осуждения грехов Шарлеманя или Наполеона?

Давайте поэтому отклоним представление об историке как о вешающем судье и обратимся к более трудному, но более полезному вопросу о вынесении морально обвинительных приговоров не индивидуальным личностям, а событиям, институтам, политике прошлого. В этом важная миссия историка; а те, кто настаивает столь горячо на моральном осуждении индивидов, иногда бессознательно обеспечивают алиби целым группам и обществам. Французский историк Лефевр, желая освободить Французскую революцию от ответственности за тяготы и кровопролитие наполеоновских войн, приписывал их “диктаторству генерала... чей темперамент... не мог легко примириться с миром и умеренностью” [*Peuples et civilisations, vol. xiv: Napoleon, c. 58*]. Немцы сегодня приветствуют осуждение индивидуальной порочности Гитлера как удовлетворительную альтернативу морального осуждения историками общества, которое его породило. Русские, англичане и американцы с готовностью присоединяются к моральным атакам на Сталина, Невилля, Чемберлена или Маккарти, как козлов отпущения за их коллективные прегрешения. Более того, похвальная моральная оценка отдельных лиц может

быть столь же неверной и вредной, как и их моральное осуждение. Признание того, что некоторые отдельные рабовладельцы были высокомыслящими людьми, постоянно использовалось как предлог не подвергать моральному осуждению рабство вообще. Макс Вебер ссылается на “рабство без владельцев, которым капитализм опутывает рабочего или должника”, и справедливо возражает, что историк должен выносить моральные решения об институтах, а не о лицах, которые их создали [*Цит. по From Max Weber: Essays in Sociology (1947), с. 58*]. Историк не вершит суд над индивидуальным восточным деспотом. Но от него также не требуется оставаться безразличным и беспристрастным к, скажем, восточному деспотизму и институтам Афин времени Перикла. Он не выносит морального решения об индивидуальном рабовладельце. Но это не мешает ему осуждать рабовладельческое общество. Исторические факты, как мы видели, предполагают некоторую меру интерпретации; а исторические интерпретации всегда несут элемент морального суждения или, если вам угодно использовать более нейтральный термин, оценочного суждения.

Это, однако, лишь начало наших трудностей. История есть процесс борьбы, в которой результаты, независимо от того, хорошими или плохими мы их видим, достигаются некоторыми группами прямо или косвенно — и чаще прямо, чем косвенно — за счет других. Проигравший платит. Страдание свойственно истории. У каждого великого исторического периода имелись и жертвы, и победители. Это чрезвычайно сложный вопрос, потому что мы не имеем меры, с помощью которой можно сбалансировать большее благо одних против жертв других: и все же такой баланс необходим. И это не сугубо историческая проблема. В обычной жизни мы оказываемся вовлеченными больше, чем нам этого хотелось бы, в необходимость предпочтения меньшего зла

или причинения зла, из которого можно извлечь пользу. В истории этот вопрос иногда обсуждается под рубрикой “цена прогресса” или “цена революции”. Это ошибочно. Как сказал Бэкон в эссе *On Innovations*, “произвольное сохранение традиции — такой же беспокойный процесс, как и инновации”. Непривилегированным слоям приходится платить такую же дорогую цену за консервацию, как и привилегированным — за инновации, лишаящие их привилегий. Тезис о том, что добро для некоторых оправдывает страдания других, имплицитно подразумевается во всех правительственных доктринах, будь то консервативное или радикальное правительство. Д-р Джонсон страстно защищал аргумент меньшего зла для оправдания существующего неравенства.

Лучше, чтобы были несчастливы некоторые, чем чтобы не был счастлив никто, как и случилось бы при всеобщем равенстве [*Boswell, Life of Doctor Johnson, 1776 (изд. Everyman, ii, с. 20)*]. *Это утверждение располагает своей откровенностью; Беркхардт (Judgements on History and Historians, с. 65) проливает слезы по поводу “молчаливых стонов” жертв прогресса, “которые как правило не хотели ничего, кроме parta tueri”, а сам хранит молчание о столах жертв ancien regime, которым как правило, нечего было сохранять*].

Но именно в периоды радикальных перемен вопрос принимает наиболее драматичную форму; и именно здесь нам легче всего изучить отношение к нему историка.

Давайте возьмем историю индустриализации Великобритании, скажем, между 1780 и 1870 гг. Практически каждый историк рассматривает индустриальную революцию, даже, наверное, без обсуждения, как великое и прогрессивное достижение. Он также опишет изгнание крестьянства с земель, скученность рабочих в нездоровых фабричных помещениях и антисанитарных жилищах, эксплуатацию детского труда. Он наверняка отметит злоупотреб-

ления в рабочей системе, безжалостность некоторых работодателей и ележно остановится на постепенном подъеме гуманитарного сознания по мере установления системы. Но он сочтет, опять же, не упоминая об этом, что меры принуждения и эксплуатации, во всяком случае, на первых порах, были неизбежной ценой индустриализации. Не слышал я также и об историках, которые бы говорили, что из-за такой цены лучше было бы остановить прогресс и не проводить индустриализацию; если такой историк существует, он несомненно принадлежит школе Честертона и Беллока и — вполне оправданно — серьезными историками не будет воспринят серьезно. Этот пример представляет для меня особый интерес, потому что я надеюсь в своей истории Советской России подойти к рассмотрению проблемы коллективизации крестьян как части цены, уплаченной за индустриализацию; и я хорошо знаю, что, если следуя примеру историков Британской индустриальной революции, я начну оплакивать жестокости и насилие времен коллективизации, но буду рассматривать процесс как неизбежную часть желательной и необходимой политики индустриализации, я навлеку на себя обвинения в цинизме и прощении зла. Историки простили колонизацию Азии и Африки девятнадцатого века западными державами на основании не только ее прямого воздействия на мировую экономику, но и долгосрочных последствий для отсталых народов этих континентов. В конце концов, говорят, современная Индия является детищем британского правления; а современный Китай — продуктом западного империализма девятнадцатого века, пересекшегося с влиянием Русской революции. К сожалению, не китайские рабочие, трудившиеся на фабриках западных владельцев в портах договора или на южноафриканских шахтах, или на западном фронте первой мировой войны, наслаждались славой или благами, приобретенными после Китайской революции. Те, кто платит, не обязательно являются теми, кто пожинает плоды. Хо-

рошо известный отрывок из Энгельса обнажает эту неудобную истину:

"История — наверное самая жестокая из всех богинь, она ведет свой триумфальный автомобиль по грудам трупов погибших не только в военное время, но и в "мирные" времена экономического развития. А мы, мужчины и женщины, к сожалению, настолько тупы, что никогда не находим в себе мужества для реального прогресса, если нас на это не толкают чрезмерные страдания" [*Письмо от 24 февраля 1893 года Даниельсону: Karl Marx and Friedrich Engels: Correspondence 1846—1895 (1934), с. 510*].

Знаменитый жест вызова Ивана Карамазова — это героическая ошибка. Мы рождаемся в обществе, мы рождаемся в истории. Нам не предоставлено право выбора — взять или отказаться от пропускного билета. Историк, как и теолог, не может разрешить проблему страдания. Он тоже опирается на тезис меньшего зла и большего добра.

Но разве факт, что историк, в отличие от ученого, вовлекается самим характером своего материала в сферу разрешения этих вопросов моральной оценки, не подразумевает подчинение истории надисторическому стандарту ценностей? Я так не считаю. Давайте предположим, что абстрактные понятия вроде "добра" и "зла" и их более утонченные разновидности лежат вне пределов истории. Даже тогда эти абстракции играют в изучении исторической морали почти ту же самую роль, как математические и логические формулы в физических науках. Они являются неотъемлемыми категориями мышления; но они лишены значения или практической значимости до тех пор, пока в них не вложено специфическое содержание. Если вы предпочитаете другую метафору, моральные наставления, которые мы применяем в истории или в каждодневной жизни — как чеки в банке: в них есть напечатанная и написанная часть. Напечатанная часть со-

стоит из абстрактных слов типа свобода и равенство, справедливость и демократия. Это существенные категории. Но чек не имеет никакой ценности до тех пор, пока не заполняется другая часть, в которой установлено, как много свободы мы предоставляем и кому, кого мы признаем равными себе и до какой степени. Способ, каким мы заполняем чек время от времени, — это дело истории. Процесс, в ходе которого абстрактным моральным понятиям придается конкретное историческое содержание, есть исторический процесс; в самом деле, наши моральные суждения выносятся в понятийных рамках, которые сами по себе являются творением истории. Излюбленной формой ведения современного международного спора по вопросам морали являются дебаты по спорным претензиям на свободу и демократию. Понятия являются абстрактными и универсальными. Но вкладываемое в них содержание по ходу истории время от времени и от места к месту менялось; любой вопрос их практического применения может быть понят и оспорен лишь в исторических терминах. Вот менее популярный пример: была предпринята попытка использовать понятие “экономической рациональности” как объективный и бесспорный критерий проверки и оценки желательности того или иного экономического курса. Эта попытка сразу же потерпела провал. Теоретики, взращенные на законах классической экономики, осуждают планирование в принципе как иррациональное вмешательство в рациональные экономические процессы; например, плановики отказываются следовать закону предложения и спроса в своей ценовой политике, и цены при планировании могут не иметь под собой рациональной основы. Может быть, это и правда, что плановики часто ведут себя иррационально, и потому глупо. Но их не следует оценивать в соответствии со старым критерием “экономической рациональности” классической экономики. Лично я больше сочувствую обратному аргументу, согласно которому нерациональной по су-

шеству является неконтролируемая, неорганизованная экономика *laissez-faire*, и планирование является попыткой внесения в данный процесс “экономической рациональности”. Но единственное, что я хотел бы сейчас подчеркнуть, — это невозможность построения абстрактного и надисторического стандарта оценки исторических действий. Обе стороны неизбежно наполняют этот стандарт конкретным содержанием, отвечающим их собственным историческим условиям и устремлениям.

Это настоящий приговор тем, кто желает ввести надисторический стандарт или критерий, в свете которого выводится оценка исторических событий или ситуаций — независимо от того, выводится ли этот стандарт неким священным авторитетом, постулируемым теологами, или из некоего статического Разума или Природы, постулируемых философами Просвещения. Дело не в том, что применение стандарта грешит недостатками или что дефект скрыт в самом стандарте. Дело в том, что попытка построения такого стандарта неисторична и противоречит самой сути истории. Она обеспечивает догматический ответ на вопросы, которые историк призван постоянно задавать: историк, принимающий ответы до того, как задан вопрос, работает с завязанными глазами и отрекается от своего призвания. История есть движение; а движение подразумевает сравнение. Поэтому историки склонны выражать свои моральные суждения словами сопоставительного характера типа “прогрессивный” или “реакционный”, а не бескомпромиссными абсолютами типа “хороший” или “плохой”; это попытки определить различные общества или исторические явления не относительно какого-то абсолютного стандарта, но относительно друг друга. Более того, когда мы исследуем эти предположительно абсолютные и внеисторические ценности, мы обнаруживаем, что они тоже, фактически, коренятся в истории. Появление той или иной ценности или того или иного идеала в то или иное время или в том или ином месте объясняет-

ся историческими условиями места и времени. Практическое содержание гипотетических абсолютов типа равенство, свобода, справедливость или естественное право разнится от периода к периоду, от континента к континенту. Каждая группа имеет свои собственные ценности, уходящие корнями в историю. Каждая группа защищает себя против вторжения чуждых и неудобных ценностей, которые она клеймит ругательными эпитетами как буржуазные и капиталистические, недемократические и тоталитарные, или, еще более грубо, неанглийскими или неамериканскими. Абстрактные стандарты или ценности, оторванные от общества и истории, — это такая же иллюзия, как абстрактное индивидуальное. Серьезный историк — это тот, который признает исторически обусловленный характер всех ценностей, а не тот, который претендует на то, что его собственные ценности объективны вне истории. Убеждения, которых мы придерживаемся, и стандарты оценки, которые мы устанавливаем, являются частью истории и подлежат историческому исследованию в той же мере, как и все другие аспекты человеческого поведения. Немного наук сегодня — и менее всего социальных наук — претендовали бы на полную независимость. Но история не имеет фундаментальной зависимости от чего-либо находящегося вне ее, в силу которой она отличалась бы от любой другой науки.

Позвольте мне суммировать все, что я пытался сказать о праве истории быть включенной в число других наук. Слово “наука” само по себе уже включает столько разных отраслей знания, применяющих так много различных методов и приемов, что бремя приведения доказательств лежит скорее на тех, кто жаждет исключить историю из числа наук, а не включить ее в это число. Знаменательно то, что аргументы в пользу исключения идут не от ученых, стремящихся изгнать историков из своего избранного круга, а от историков и философов, стремящихся доказать право истории на статус разновидности гуманитарной литературы.

Этот спор отражает предубеждение старого разделения между гуманитарными и естественными науками, в котором первые подавались как представляющие широкую культуру правящего класса, а вторые — как представляющие умение обслуживающих их “технарей”. Слова “гуманитарный” и “гуманный” сами по себе в этом контексте являются пережитком этого многолетнего предубеждения; и тот факт, что антитеза между гуманитарными и естественными науками не будет иметь смысла ни в каком другом языке кроме английского, говорит в пользу специфически изолированного характера этого предубеждения. Мое главное возражение против отказа называть историю наукой сводится к тому, что он оправдывает и увековечивает разрыв между так называемыми “двумя культурами”. Сам по себе такой разрыв является продуктом этого древнего предрассудка, основанного на классовой структуре английского общества, которая сама уже принадлежит прошлому; я и сам не уверен, что пропасть, разделяющая историка от геолога, глубже или менее преодолима, чем разрыв между геологом и физиком. По-моему, можно сократить разрыв, обучая историков элементарной науке, а ученых — элементарной истории. Это тупик, в который нас завела запутанность мысли. В конце концов, сами ученые так себя не ведут. Я никогда не слышал об инженерах, которым советуют пройти элементарный курс ботаники.

Одно из средств, которое я могу предложить, — повышение стандартов нашей истории, придание ей, если мне позволено будет так сказать, большей научности, ужесточение требований к тем, кто занимается историей. История как академическая дисциплина в этом университете иногда преподносится как занятие тех, для кого классические науки слишком трудны, а естественные науки — слишком серьезны. Одно из впечатлений, которым я хотел бы поделиться в этих лекциях, — это то, что история является намного более трудным предметом, чем классика, и так

же серьезна, как и любая иная наука. Но это средство означало бы более глубокую преданность самих историков тому, чем они занимаются. Сэр Чарльз Сноу в своей недавней лекции на эту тему противопоставил “дерзкий” оптимизм ученого “приглушенным тонам” и “антисоциальным чувствам” того, кого он называет “литературным интеллектуалом” [C.P.Snow, *The Two Cultures and the Scientific Revolution (1959)*, с. 4—8]. Некоторые историки — и более всего те, кто пишет историю, не будучи таковыми — принадлежат к этой категории “литературных интеллектуалов”. Они так заняты процессом убеждения нас в том, что история — не наука, и объяснением того, что она не может и чего ей не следует делать, что у них не остается времени на исторические достижения и реализацию потенциала истории.

Другим способом сокращения разрыва является достижение более глубокого понимания идентичности целей, преследуемых учеными и историками; а в этом главная ценность нового и растущего интереса к истории и философии науки. Ученые, социологи и историки занимаются различными аспектами одного и того же исследования — исследования человека и его окружения, воздействия человека на его окружение и окружения на человека. Цель исследования одна и та же: расширить понимание и освоение человеком своего окружения. Предпосылки и методы физика, геолога, психолога и историка весьма различны в деталях; не склонен я также считать, что историк, желающий быть более научным, должен более неуклонно следовать методам естественных наук. Но историк и физик объединены фундаментальной целью поиска объяснения и фундаментальной процедурой вопросов и ответов. Как и любой другой ученый, историк является животным, которое непрерывно задается вопросом “почему?”. В своей следующей лекции я проанализирую пути, которыми он задает такие вопросы и пытается отвечать на них.

4. Причинность в истории

Если молоко поставить кипятить в кастрюле, оно убежит. Я не знаю и никогда не интересовался, почему это происходит; если бы меня заставили ответить на этот вопрос, я возможно объяснил бы это склонностью молока убежать из кастрюли, что было бы правдой, но не объясняло бы ничего. Но я ведь не специалист в области естественных наук. Точно так же можно уметь читать и даже писать о событиях прошлого, не желая проникать в причины произошедшего, или довольствоваться утверждением о том, что вторая мировая война произошла потому, что ее хотел Гитлер, что близко к правде, но не объясняет ничего. Но тогда не следует ошибочно называть себя изучающим историю или историком. Изучение истории есть изучение причин. Историк, как я уже сказал в конце моей последней лекции, постоянно задается вопросом “почему?”; и до тех пор, пока он надеется получить ответ, он не знает покоя. Великий историк — возможно, я должен сказать более широко, великий мыслитель — это человек, задающий вопрос “почему?” о новых вещах или о новых ситуациях.

Геродот, отец истории, определил свою цель в начале своей работы: сохранение памяти о делах греков и варвар, “и в особенности, превыше всего прочего, определение причины, по которой они сражались друг с другом”. У него было немного учеников в древнем мире: даже Фукидид был обвинен в неимении чет-

кого понятия причинности [F.M. Cornford, Thucydides Mythistoricus, *passim*]. Но когда в восемнадцатом веке закладывались основы современной историографии, Монтескье в своих *Considerations on the Causes of the Greatness of the Romans and of their Rise and Decline* опирался на принципиальное положение о том, что “есть общие причины, моральные или физические, которые действуют в каждой монархии, поднимают ее, поддерживают ее или низвергают ее”, и что “все происходящее вызвано этими причинами”. Несколько лет спустя в *Esprit des lois* он развил эту идею дальше и обобщил ее. Абсурдно было предполагать, что “все, что мы видим в этом мире, произведено слепой судьбой”. Люди “не управлялись исключительно своими фантазиями”, в своем поведении они следовали определенным законам и принципам, проистекающим из “природы вещей” [*De l'esprit des lois, предисловие и гл. 1*]. Почти 200 лет спустя историки и философы истории вплотную занялись попытками организовать прошлый опыт человечества путем выяснения причин, вызвавших исторические события, и законов, ими управляющих. Иногда причины и законы осмысливались в механических, иногда — биологических, иногда — метафизических, иногда — экономических или физиологических терминах. Была общепринятой доктрина о том, что история заключалась в расположении событий прошлого в упорядоченной причинно-следственной последовательности. “Если вам нечего нам сказать, — писал Вольтер в своей статье по истории для энциклопедии, — кроме того, что один варвар на берегах Оксуса и Джохарты стал преемником другого, что нам с того?”. В последние годы картина несколько изменилась. По причинам, описанным в моей последней лекции, сегодня мы уже не говорим об исторических “законах”; и даже слово “причина” вышло из моды, отчасти из-за определенных философских неясностей, на которых мне нет необходимости останавливать-

ся, а отчасти в силу его предполагаемой связи с детерминизмом, на котором я остановлюсь ниже. Поэтому некоторые люди говорят не о “причинах” в истории, но об “объяснении”, “интерпретации”, или “логике ситуации”, или “внутренней логике событий” (последнее исходит от Дисси), или отвергают причинный подход (почему это произошло) в пользу функционального (как это случилось), хотя это неизбежно влечет за собой вопрос, как этому довелось случиться, и таким образом возвращает нас к вопросу “почему?”. Другие разграничивают различные виды причин — механические, биологические, психологические, физиологические и пр. — и рассматривают историческую причину как самостоятельную категорию. Хотя некоторые из этих различий в какой-то степени состоятельны, для целей данной работы было бы более целесообразно подчеркнуть сходства между всякого рода причинами, а не различия между ними. Меня лично удовлетворяет использование слова “причина” в популярном смысле этого слова и пренебрежение всеми тонкостями.

Давайте начнем с вопроса о том, что на практике делает историк, когда перед ним встает необходимость выяснения причин тех или иных событий. Первой характеристикой подхода историка к проблеме причины является то, что он обычно объясняет одно и то же событие несколькими причинами. Экономист Маршалл как-то написал, что “людей следует отвратить всеми возможными способами от рассмотрения действия той или иной причины ... без учета других, чье воздействие может быть связано с первой” [*Memorials of Alfred Marshall*, ред. А.С. Pigou (1925), с. 428]. Отвечающий на экзамене кандидат, будучи спрошенным о причинах Русской революции 1917 года, приведя лишь одну причину, может рассчитывать в лучшем случае лишь на третий класс. Историк имеет дело со множественными причинами. Если

нам необходимо рассмотреть причины революции большевиков, мы можем назвать серию военных поражений России, упадок российской экономики из-за тягот войны, эффективную пропаганду большевиков, бессилие царского правительства разрешить аграрную проблему, концентрацию обнищавшего и эксплуатируемого пролетариата на фабриках Петрограда, то, что Ленин, в отличие от противной стороны, знал, чего хотел, — короче говоря, хаотическую смесь экономических, политических, идеологических и личных, краткосрочных и долгосрочных причин.

Но это возвращает нас ко второй характеристике подхода историка. Кандидат, который в ответ на наш вопрос довольствуется перечислением дюжины причин Русской революции и всего лишь, может получить второй класс, но никак не первый; “хорошо информирован, но не имеет воображения” — вот возможное заключение экзаменаторов. Подлинный историк, имея на руках составленный им самим перечень причин, испытает профессиональное искушение упорядочить их, построить их в иерархическом порядке, установив их взаимоотношение друг с другом, возможно, решив, какая причина или категория причин должна рассматриваться “как крайний случай” или в “окончательном анализе” (излюбленные фразы историков) как конечная причина или причина всех причин. Это его интерпретация темы; историк известен причинами, которые он приводит. Гиббон приписывал упадок и развал Римской империи триумфу варварства и религии. Историки английских вигов девятнадцатого века объясняли расцвет британского правления и экономики развитием политических институтов, воплощающих принципы конституционной свободы. Гиббон и историки девятнадцатого века сегодня выглядят старомодно, потому что они игнорируют экономические причины, которые современными историками выводятся на первый план. Каждый исторический аргумент обращается вокруг вопроса приоритетности причин.

Анри Пуанкаре в работе, которую я цитировал в последней лекции, заметил, что наука продвигалась вперед одновременно и к “разнообразию и сложности”, и к “унификации и упрощению”, и этот двойственный и явно противоречивый процесс был необходимым условием знания [*H. Poincaré, La Science et l’hypothèse (1902), с. 202–203*]. Это не менее справедливо и в отношении истории. Расширяя и углубляя свое исследование, историк постоянно аккумулирует все больше и больше ответов на вопрос “почему?”. Распространение в последнее время экономической, социальной, культурной и правовой истории — не говоря уже о новейших достижениях в постижении сложностей политической истории и применении новых приемов в психологии и статистике — значительно увеличили количество и размах наших ответов на этот вопрос. Когда Бертран Рассел заметил, что “каждое продвижение вперед в науке уводит нас все дальше от грубых бросающихся в глаза упрощений к более тонкому разграничению antecedenta и следствия и к все более расширяющемуся кругу antecedentov, признаваемых как релевантные” [*B. Russel, Mysticism and Logic (1918), с. 188*], он точно описал обстановку в истории. Но историк, в силу своего желания понять прошлое, одновременно вынужден, как и ученый, упрощать множественность своих ответов, подчинять один ответ другому и упорядочивать хаос событий и хаос причин. “Один Бог, один Закон, один Элемент, и одно отдаленное Божественное Событие”; или поиск Генри Адамом “какого-то великого обобщения, которое покончит с требованиями образования” [*The Education of Henry Adams (Бостон, 1928), с. 224*] — сейчас все это читается как старомодная шутка. Но факт остается фактом — историк должен работать через упрощение, равно как и через приумножение причин. История, как наука, идет вперед именно таким двойственным и явно противоречивым путем.

Здесь я вынужден сделать отступление, чтобы рассмотреть два отвлекающих нас маневра — один, называемый “детерминизмом в истории”, или “пороком Гегеля”, и другой — “шансом в истории”, или “носом Клеопатры”. Сначала я должен сказать несколько слов о том, как они здесь появились. Профессор Карл Поппер, написавший в 30-х гг. в Вене внушительную работу о новом взгляде на науку (недавно переведенную на английский язык под названием *The Logic of Scientific Enquiry*), опубликовал на английском языке во время войны две книги более популярного характера: *The Open Society and Its Enemies* и *The Poverty of Historicism* [*The Poverty of Historicism* была впервые опубликована в формате книги в 1957 г., но состоит из статей, первоначально опубликованных в 1944 и 1945]. Они были написаны под сильным эмоциональным воздействием реакции против Гегеля, которого рассматривали, наряду с Плуто, духовным предком нацизма, и против мелкотравчатого марксизма, характеризующего интеллектуальный климат британских левых в 30-х гг. Как их основные цели преподносилась якобы детерминистская философия истории Гегеля и Маркса, сведенные вместе под ругательным названием “историцизма” [*Я избегал слова “историцизм”, упомянув его лишь в одном — двух случаях, где не требовалось точности, поскольку широко-известные труды профессора Поппера на данную тему лишили этот термин его точного значения. Постоянное настаивание на определении термина — это педантизм. Но следует знать, о чем говоришь, и профессор Поппер употребляет слово “историцизм” как расхожую фразу для обозначения любых мнений об истории, которые ему не нравятся, включая те, которые мне кажутся здравыми, и те, которых, по моему разумению, сегодня не придерживается ни один серьезный писатель. По его признанию (The Poverty of Historicism, с. 3), он выдумывает*

“историцизмические” аргументы, никогда не употреблявшиеся никем из известных “историцистов”. В его трактовке “историцизм” включает обе доктрины, как уподобляющие историю науке, так и резко отграничивающие одну от другой. В *Open Society* Гегель, избегающий предсказаний, представлен как первосвященник историцизма; во введении к *The Poverty of Historicism* последний описывается как “подход к социальным наукам, который считает историческое предсказание своей главной целью”. До того времени историцизм обычно использовался как английская версия немецкого “историзма”; теперь профессор Поппер отграничивает историцизм от историзма, таким образом внося еще один элемент путаницы к уже запутанному употреблению термина. М.С. D’Arcy, *The Sense of History: Secular and Sacred (1959)*, с. 11 использует слово “историцизм” как “идентичное философии истории”. В 1954 году сэра Исайя Берлин опубликовал свое эссе *Historic Inevitability*. Он не стал атаковать Плуто, возможно из уважения к этому древнему столпу Оксфордского Истеблишмента [*Атака на Плуто как на первого нациста началась в серии передач оксфордца R.H.Crossman, Plato Today (1937)*]; он добавил к обвинению аргумент, которого нет у Поппера, о том, что “историзм” Гегеля и Маркса спорен потому, что объяснение человеческих действий в причинных терминах подразумевает отрицание человеческого свободоизъявления и толкает историков к тому, чтобы они избегали считать своим долгом (о котором я говорил в своей последней лекции) выносить моральное порицание Шарлеманям, Наполеонам и Сталиным истории. Иначе небольшое изменилось бы. Но сэра Исайя Берлин заслуженно является популярным и широкоизвестным писателем. За последние пять или шесть лет почти каждый в этой стране или США, кто написал статью об истории или серьезный обзор исторического труда, показал длинный

нос Гегелю и Марксу и детерминизму и указал на абсурдность непризнания роли случая в истории. Наверное, несправедливо призывать сэра Исайю к ответу за его учеников. Даже когда он говорит нелепицу, он заслуживает снисхождения из-за того, что говорит о ней таким занимательным и привлекательным образом. Ученики повторяют нелепицу, но в их устах она не звучит столь привлекательно. В любом случае, в этом нет ничего нового. Чарльз Кингсли, не самый выдающийся из наших региус-профессоров современной истории, который, вероятно, никогда не читал Гегеля и не слышал о Марксе, в своей инаугурационной речи в 1860 году говорил о “загадочной способности человека нарушать законы своего собственного бытия” как доказательстве невозможности существования неизбежной последовательности в истории [C. Kingsley, *The Limits of Exact Science as Applied to History (1860)*, с. 22]. Но, к счастью, мы забыли Кингсли. Именно профессор Поппер и сэр Исайя Берлин вернули этой мертвой лошадке подобие жизни; и потребуется терпение, чтобы распутать этот узел.

Позвольте мне начать с детерминизма, который я определю — надеюсь, непротиворечиво — как веру в то, что все случаемое имеет причину или причины и могло случиться иначе лишь по иной/иным причине/причинам [*“Детерминизм...означает... что, при имеющихся в наличии сведениях, что бы ни случилось, должно случаться именно так и никак иначе. Предположить обратное означает лишь, что это могло случиться иначе при наличии данных другого рода”* (S.W.Alexander в *Essays Presented to Ernst Cassirer, 1936*, с. 18)]. Детерминизм — это проблема не истории, а человеческого поведения вообще. Человек, чьи действия беспричинны и, следовательно, не детерминированы, — это точно такая же абстракция, как и индивид вне общества, о кото-

ром мы говорили в предыдущей лекции. Утверждение профессора Поппера, что “все возможно в делах человека” [*K.R.Popper, The Open Society (изд.2, 1952), ii, с. 197*], либо бессмысленно, либо фальшиво. Никто в обычной жизни не верит и не может верить в это. Аксиома, что все имеет причину есть условие нашей способности понимать, что происходит вокруг нас [“Закон каузальности не навязывается нам миром”, но “является для нас самым удобным способом нашей адаптации к миру (*J.Rueff, From the Physical to the Social Sciences, Балтимор, 1929, с. 52*). Профессор Поппер сам (*The Logic of Scientific Enquiry, с. 248*) называет веру в каузальность “метафизической гипостатизацией вполне оправданного методологического правила”]. Кошмар романов Кафки состоит в том, что все, что происходит, происходит без видимой причины или без причины, которую можно установить; это ведет к полной дезинтеграции человеческой личности, которая базируется на убеждении, что события вызваны какими-то причинами, и что достаточное количество таких причин поддается верификации для того, чтобы построить в человеческом мозгу структуру прошлого и будущего, которая может служить руководством к действию. Каждодневная жизнь была бы невозможной, если бы человек не верил в то, что его поведение определяется поддающимися определению причинами. Когда-то давным-давно люди считали богохульством доискиваться причин явлений природы, поскольку те явно управлялись божественной волей. Возражение сэра Исайи Берлина против нашего объяснения причин человеческого поведения, основанное на том, что эти действия управляются волей человека, принадлежит к тому же разряду идей и, возможно, указывает на то, что социальные науки сегодня находятся на той же стадии развития, на какой были естественные науки, когда такого рода аргументы были направлены против них.

Посмотрим, как мы справляемся с этой проблемой в каждодневной жизни. Занимаясь своими ежедневными делами, вы обычно встречаете Смита. Вы приветствуете его приятным, но пустым замечанием о погоде или о делах колледжа или университета; он отвечает таким же приятным и пустым замечанием о погоде или положении дел. Однако, предположим, как-то утром Смит, вместо того, чтобы ответить на ваше замечание в обычной манере, раздражается резко обличительной речью по поводу вашей внешности или характера. Пожмете ли вы на это плечами, отнесясь к этому как к убедительной демонстрации свободы воли Смита и того факта, что все возможно в делах человеческих? Подозреваю, что нет. Напротив, вы наверное скажете что-нибудь вроде “Бедный Смит! Вы, конечно, знаете, его отец умер в психушке” или “Бедный Смит! У него опять наверное неприятности с женой”. Другими словами, вы попытаетесь установить причину явно беспричинного поведения Смита в твердой уверенности, что такая причина имеется. При этом, боюсь, вы рискуете навлечь на себя гнев сэра Исаяи Берлина, который бы горько посетовал, что причинно объясняя поведение Смита, вы проглотили детерминистское убеждение Гегеля и Маркса и уклонились от обязанности осудить Смита как невежу. Но в обычной жизни никто не принимает такую точку зрения и не предполагает, что на карту поставлен либо детерминизм, либо моральная ответственность. В реальной жизни логическая дилемма свободной воли и детерминизма не возникает. Дело не в том, что некоторые человеческие действия свободны, а другие — предопределены. Дело в том, что все человеческие действия и свободны, и предопределены, в зависимости от точки зрения, с которой их рассматривают. Практический вопрос опять в другом. Действия Смита имели причину или причины; но в той мере, в какой они не были вызваны каким-либо внешним принуждением, а принуждением

внутренним, личностным, он несет моральную ответственность, так как в условия общественной жизни входит моральная ответственность нормальных взрослых людей за свою личность. Практическое решение о том, считать ли его ответственным в данном конкретном случае, принимать вам. И если вы решите, что да, это не означает, что вы рассматриваете его действие как беспричинное: причина и моральная ответственность относятся к различным категориям. В этом университете недавно образован институт и кафедра криминологии. Тем, кто занят расследованием причин преступлений, и в голову не пришло бы, что это обязывает их отрицать моральную ответственность преступника.

Взгляните теперь на историка. Как и обычный человек, он верит, что человеческие действия имеют причины, которые в принципе поддаются определению. История, как и каждодневная жизнь, была бы невозможна, если бы такой убежденности не было. Историк облечен особой функцией расследования этих причин. Это можно представить как особый интерес к детерминистскому аспекту человеческого поведения: но он не отвергает понятие свободной воли — за исключением того, что основано на неубедительной гипотезе беспричинности добровольных действий. Не волнует его и вопрос неизбежности. Историки, как и другие люди, иногда впадают в риторику, говоря о случившемся как о “неизбежном”, когда на деле они считают, что стечение обстоятельств, заставлявших ожидать подобного поворота событий, было слишком явным. Недавно я просмотрел свою историю на предмет употребления этого неприемлемого слова и не могу сказать, что не грешен: в одном абзаце я написал, что после революции 1917 года столкновение между большевиками и ортодоксальной церковью было “неизбежным”. Без сомнения, было бы более осмотрительным использовать слова “весьма вероятным”. Не извинительно ли мне считать такую поправку слегка

педантичной? На практике историки не рассматривают события как неизбежные до того, как они имели место. Они часто обсуждают альтернативные повороты событий, исходя из возможности действующих лиц сделать иной выбор, и затем правомерно объясняют, почему они сделали тот, а не иной выбор. Ничто в истории не является неизбежным, разве что в формальном смысле, что для того, чтобы все случилось по-другому, нужны были иные причины-антецеденты. Как историк, я совершенно готов обходиться без “неизбежности” и даже без “неотвратимости”. Жизнь была бы скучнее. Но давайте оставим эти слова поэтам и метафизикам.

При всем том, что обвинение “неизбежности” представляется таким бесплодным и бессмысленным, она столь интенсивно использовалась в последние годы, что, я думаю, нам следует искать скрытые за этим мотивы. Ее основным источником, я подозреваю, является то, что я называю школой мысли, или скорее чувств, “если бы да кабы”. Она занимается почти исключительно современной историей. В прошлом семестре здесь, в Кембридже, мне попала на глаза реклама о заседании в одном обществе на тему “Была ли Русская революция неизбежной?”. Я уверен, заседание задумывалось как совершенно серьезная беседа. Но случись вам увидеть рекламу беседы “Были ли Войны Роз неизбежными?”, вы бы немедленно заподозрили, что это шутка. Историк пишет о нормандском завоевании или об американской войне за независимость как будто то, что случилось, на самом деле должно было случиться, и как будто в его задачи входит лишь объяснение того, что случилось и почему; и никто не обвиняет его в детерминизме и в неумении обсудить альтернативные возможности разгрома Уильяма Завоевателя или американских инсургентов. Когда я, однако, пишу о Русской революции 1917 года именно таким образом — единственным, который

подобаает историкам — я нахожу себя объектом атак критиков за то, что описал то, что случилось, как то, что должно было случиться, и не сумел проанализировать иные возможности разворачивания событий. Предположим, утверждается, что у Столыпина было время завершить свою аграрную реформу, или что Россия не пошла на войну, возможно революция не состоялась бы; или предположим, что правительство Керенского принесло бы пользу, и что революцию бы возглавили меньшевики или социал-революционеры, а не большевики. Эти предположения теоретически допустимы; и можно поиграть в “если бы да кабы” на темы истории. Но это не имеет никакого отношения к детерминизму; детерминист бы лишь ответил, что, для того, чтобы эти вещи случились, нужны были бы другие причины. Не имеют они также отношения и к истории. Дело в том, что сегодня никто не имеет серьезных намерений переиграть результаты нормандского завоевания или войны американцев за независимость, или выразить страстный протест против этих событий; и никто не возражает, когда историк обращается с ними как с закрытой главой. Но множество людей, прямо или косвенно пострадавших от результатов победы большевиков, или все еще боящихся ее последствий в будущем, желают зарегистрировать свой протест против нее; и во время чтения истории этот протест принимает форму бунта их воображения в плане представления более приятного поворота событий и негодования в адрес историка, спокойно делающего свое дело объяснения того, что случилось, и почему их приятные мечты остались нереализованными. Проблема с современной историей в том, что люди помнят время открытых возможностей выбора, и им трудно встать на позицию историка, для которого они закрылись *fait accompli*. Это чисто эмоциональная и неисторическая реакция. Но именно она подливала масло в огонь недавней кампании против выдвинутой док-

трины “исторической неизбежности”. Давайте избавимся от этого заблуждения раз и навсегда.

Другим объектом атак является знаменитая загадка носа Клеопатры. Эта теория заключается в том, что история в целом — книга случаев, серия событий, predetermined случайными совпадениями и вызванных лишь случайными причинами. Результат битвы Актиума имеет своей причиной не ту, которая обычно постулируется историками, но влюбленность Антония в Клеопатру. Когда Баязету приступ подагры помешал направиться в центральную Европу, Гиббон заметил, что “желчный сок в одной из тканей организма одного человека может предотвратить или отсрочить несчастья целых народов” [Decline and Fall of the Roman Empire, гл. lxiv]. Когда греческий король Александр умер осенью 1920 от укуса любимой обезьянки, этот случай вызвал снежный ком событий, вызвавших замечание сэра Уинстона Черчилля, что “от этого обезьяньего укуса умерла четверть миллиона людей” [W. Churchill, The World Crisis: The Aftermath (1929), с. 386]. Или возьмем опять комментарий Троцкого о лихорадке, подхваченной им во время охоты на уток, которая вывела его из строя в ответственный момент его ссоры с Зиновьевым, Каменевым и Сталиным осенью 1923 года: “Можно предвидеть войну или революцию, но невозможно предвидеть последствия осенней охоты на диких уток” [Л. Троцкий, Моя жизнь (пер.на англ., 1930), с. 425]. Первое, что надо прояснить, — то, что данный вопрос не имеет никакого отношения к детерминизму. Влюбленность Антония в Клеопатру, приступ подагры у Баязета, лихорадка Троцкого были так же, как и все случающееся, predetermined случаем. Было бы крайне нелюбезно по отношению к Клеопатре предполагать, что влюбленность Антония была беспричинной. Связь между женской красотой и мужскими чувствами — одна из наиболее регулярных цепочек при-

чины и следствия, наблюдаемых в каждодневной жизни. Эти так называемые случайности истории представляют собой причинно-следственную цепочку, прерываемую и, так сказать, вступающую в конфликт с цепочкой, изучение которой составляет первоочередную задачу историка. Бюри, совершенно правомерно, говорит о “коллизии двух взаимозависимых причинных цепочек” [Об аргументе Бюри по этому поводу см. *The Idea of Progress* (1920), с. 303–304]. Сэр Исайя Берлин, начавший свое эссе *Historic Inevitability* цитатой из статьи Бернарда Беренсона *The Accidental View of History*, принадлежит к тем, кто путает случай в этом смысле с отсутствием причинной обусловленности. Но, отменяя в сторону эту путаницу, можно увидеть, что перед нами стоит действительно серьезная проблема. Как можно раскрыть в истории связную последовательность причины и следствия, как обнаружить смысл в истории, если наша последовательность может в любой момент быть нарушенной или поменять направление из-за любой иной, с нашей точки зрения неуместной, последовательности?

Здесь можно на минуту остановиться, чтобы обратить внимание на происхождение этой недавней широко распространенной убежденности в роли случая в истории. Полибиус оказывается первым историком, занявшимся этим вопросом систематично; а Гиббон не замедлил разоблачить причину. “Греки, — заметил Гиббон, — после того, как их страна превратилась в провинцию, объясняли триумфы Рима не заслугами, а судьбой республики” [*Decline and Fall of the Roman Empire*, гл. xxxviii. *Забавно видеть, что после их завоевания римлянами, греки также развлекались игрой в “если бы да кабы” — любимым утешением потерпевших поражение: если бы Александр Великий не умер молодым, говорили они себе, “он бы покорил Запад, и Рим подчинился бы греческим королям”* (K. von Fritz, *The Theory of*

the Mixed Constitution in Antiquity, Нью-Йорк, 1954, с. 395)]. Тацит, тоже историк упадка своей страны, был другим историком древности, размышлявшим о случае. С усилением настроения неопределенности и страха, появившегося в начале века и ставшего заметным после 1914 года, британские писатели снова стали настаивать на важности случая в истории. Первым британским историком, взявшим эту ноту после длительного перерыва, стал Бюри, в своей статье от 1909 года “Darwinism in History” он привлек внимание к “элементу случайного совпадения”, который во многом “помогает определить события общественной эволюции”, а его статья “Нос Клеопатры” 1916 года была целиком посвящена этой теме [*Обе статьи перепечатаны в J. B. Bury, Selected Essays (1930); комментарии Колингвуда к взглядам Бюри см. в The Idea of History, с. 148–150*]. Г. А. Фишер в уже цитированном отрывке, отражающем его разочарование по поводу несостоятельности либеральных мечтаний после первой мировой войны умоляет своих читателей признать “игру случайного и непредвиденного” в истории [*Об этом отрывке см. с. 43 выше. Цитирование Тойнби афоризма Фишера в Study of History, v, с. 414, обнажает полное недопонимание: он рассматривает его как продукт “современного западного убеждения во всемогуществе случая”, которое “породило” laissez-faire. Теоретики laissez-faire верили не в случай, но в скрытую руку, налагающую благотворные закономерности на все разнообразие человеческого поведения; и замечание Фишера было продуктом не laissez-faire, а крушения последнего в 20-х и 30-х гг.*]. Популярность в этой стране теории истории как книги случайностей совпала с подъемом французской школы философов, проповедовавших, что существование — я цитирую знаменитый тезис Сартра в L’Etre et le neant — “не имеет ни причины, ни необходимости”. В Германии ветеран истории Мейнеке, как мы уже

отмечали, к концу жизни проникся сознанием роли случая в истории. Он упрекал Ранке за недостаточность внимания к этой роли; и после второй мировой войны он приписывал национальные несчастья последних сорока лет серии случайностей: тщеславию Кайзера, избранию Гиндебурга президентом Веймарской Республики, маниакальности характера Гитлера и т.д., в чем я вижу банкротство ума великого историка под тяготами бед, обрушившихся на его страну [*Соответствующие отрывки цитируются У. Старком в его введении к F.Meinecke, Machiavellism, с. xxxv — xxxvi*]. В группе или в нации, которая едет в обозе, а не находится на гребне исторических событий, будут преобладать теории, подчеркивающие роль случая в истории. Точка зрения на результаты анализа как на лотерею будет всегда популярна среди тех, кто пребывает в третьем классе.

Но обнажение источников такой веры еще не значит избавление от нее; и нам еще предстоит выяснить, что делает нос Клеопатры на страницах истории. Монтескье был явно первым, кто попытался защитить законы истории от этого вмешательства. “Если конкретная причина, вроде случайной победы в битве, погубила государство, — писал он в своей работе о величии и упадке римлян, — значит, была и общая причина, которая вызвала падение этого государства в результате одной единственной битвы”. Марксисты тоже имели трудности в этом вопросе. Маркс писал об этом только один раз, и лишь в письме:

“Мировая история имела бы весьма мистический характер, если бы в ней не было места случаю. Этот случай сам естественно становится частью общей тенденции развития и компенсируется другими формами случая. Но ускорение и замедление зависят от таких случайностей, включая случайный характер лиц, возглавляющих движение с самого начала” [Маркс и Энгельс, *Труды* (Русск. изд.), xxvi, с.108].

Таким образом, Маркс предложил извинение случайности в истории под тремя головами. Первая не очень важна; она могла “ускорять” или “замедлять” ход событий, но, подразумевалось, не изменять его радикально. Во-вторых, один случай компенсируется другим, так что в конце концов случай самонейтрализуется. В-третьих, случай особенно хорошо виден в характерах индивидов [*Толстой в "Войне и мире", эпизод i, приравнял случай и гений, как термины, выражающие неспособность человека понять конечные причины*]. Троцкий усилил теорию компенсации и самонейтрализации случаев искусной аналогией:

“Весь исторический процесс является отражением исторического закона через случайное. На языке биологии мы могли бы сказать, что исторический закон реализуется через естественный отбор случаев” [Л.Троцкий, *Моя жизнь (1930), с. 422*].

Признаюсь, что мне эта теория кажется неудовлетворительной и неубедительной. Роль случая в истории сегодня серьезно преувеличивается теми, кто заинтересован в подчеркивании этой роли. Но он существует, и сказать, что он лишь ускоряет или замедляет, но не изменяет хода событий — значит, просто играть словами. Не вижу я также причины верить в то, что случайное событие — скажем, преждевременная смерть Ленина в пятьдесят четыре года — автоматически компенсируется каким-то другим случаем с тем, чтобы восстановить баланс исторического процесса.

В равной степени неадекватным является мнение о том, что случай в истории есть лишь мера нашего невежества — всего лишь имя для того, что мы не можем понять [*Этого взгляда придерживался Толстой: "Мы вынуждены полагаться на фатализм как на объяснение иррациональных событий, то есть событий, рациональность которых мы не понимаем"* (*Война и мир, Вк ix, гл.i*); см. также отрывок, цитируемый на с. 101, примеча-

ние 3]. Это, несомненно, иногда случается. Планеты назывались “блуждающими”, когда считалось, что они блуждали по небу, и регулярность их движения была выше нашего понимания. Описание чего-либо как невезения — излюбленный способ освобождения себя от утомительной обязанности расследовать его причины; и когда кто-нибудь мне говорит, что история есть книга случайностей, я склонен подозревать его в интеллектуальной лени или низком уровне интеллекта. Серьезные историки то и дело открывают, что то, что до сих пор считалось случайностью, было совсем не случайным, что оно имеет под собой рациональную основу и логически вписывается в более широкий контекст событий. Но это не дает полного ответа на наш вопрос. Случай не есть лишь то, что мы не в состоянии понять. Решение проблемы случая в истории нужно, на мой взгляд, искать совсем в другой идейной плоскости.

Ранее мы видели, что история начинается с отбора и построения фактов историком, после чего последние становятся историческими фактами. Не все факты являются историческими. Но различие между историческими и неисторическими фактами не является ни жестким, ни постоянным; и любой факт может, так сказать, подняться до уровня исторического, если обнаруживается его уместность и значимость. Теперь мы видим, что почти то же самое происходит в подходе историка к причинам. Отношение историка к его причинам имеет ту же самую двойственную и взаимную природу, как и отношение историка к его фактам. Причины обуславливают его интерпретацию исторического процесса, а его интерпретация обуславливает его отбор и построение причин. Иерархия причин, относительная значимость одной причины или набора причин есть суть его интерпретации. А это снабжает его ключом к решению проблемы случайного в истории. Форма носа Клеопатры, приступ подагры у Баязета, укусы обезьяны, от которого умер Александр, смерть Ленина — все это

случайности, которые изменили курс истории. Бесполезно пытаться отмахнуться от них или притворяться, что так или иначе они не возымели эффекта. С другой стороны, будучи случайными, они не укладываются в какую-либо рациональную интерпретацию истории, или в выстраиваемую историком иерархию значительных причин. Профессор Поппер и профессор Берлин — я цитирую их еще раз как наиболее выдающихся и широкочитаемых представителей школы — предполагают, что попытки историка найти значительное в историческом процессе и сделать выводы из этого равносильны попытке свести “весь опыт” к симметрическому порядку, и что присутствие случая в истории обрекает любую такую попытку на провал. Но ни один здравомыслящий историк не претендует на решение столь фантастической задачи, как охватить “весь опыт”; он не может охватить больше, чем мизерную часть фактов даже в пределах избранного сектора или аспекта истории. Мир историка, как и мир ученого, — это не фотографическая копия реального мира, а скорее его рабочая модель, помогающая ему более или менее эффективно понять и освоить этот мир. Историк извлекает из опыта прошлого или из того опыта прошлого, информацией о котором он располагает, ту часть, которая поддается рациональному объяснению и интерпретации, и делает из этого выводы, которые могут служить руководством к действию. Недавно популярный писатель, говоря о достижениях науки, графически изобразил процессы, протекающие в мозгу человека, который, перебрав всякие лоскуты наблюдаемых фактов, отбирает, систематизирует и структурирует релевантные факты как целое, игнорируя нерелевантные, до тех пор, пока он не сошьет логическое и рациональное одеяло “знания” [L. Paul, *The Annihilation of Man (1944)*, с. 147]. С некоторыми оговорками относительно опасностей нежелательного субъективизма, я должен принять это как картину того, как работает ум историка.

Эта процедура может приводить в замешательство и шокировать философов и даже некоторых историков. Но она вполне знакома обычным людям в их каждодневной жизни. Позвольте мне проиллюстрировать это. Возвращаясь с вечеринки, где он хлебнул лишнего, на машине, у которой оказываются не в порядке тормоза, Джон в районе, печально известном слабой видимостью, сбивает и переезжает Робинсона, который пересекал улицу, чтобы купить сигарет на углу. После этого мы встречаемся, скажем, в местном полицейском участке, для выяснения причин несчастного случая. Произошел ли он по причине того, что водитель был в подвыпившем состоянии? Тогда должно быть заведено уголовное дело. Произошло ли это по причине неисправности тормозов? В таком случае меры должны быть предприняты против гаража, который произвел полную проверку автомобиля за неделю до несчастного случая. Случилось ли это по причине печально известной плохой видимости на месте происшествия? В таком случае к делу могут быть привлечены дорожные власти. Во время обсуждения всех этих практических вопросов в комнату врываются два выдающихся джентльмена — не буду называть их имен — и очень напористо и связно говорят, что если бы у Робинсона в тот вечер не кончились сигареты, он бы не пересекал дорогу и не попал бы под машину; что смерть Робинсона произошла из-за его нужды в сигаретах; и что любое расследование, игнорирующее данную причину, будет лишь потерей времени, а любые выводы по делу — бессмысленными и бесплодными. Что же нам тогда делать? Как только мы сумеем прервать поток красноречия, мы подталкиваем этих джентльменов мягко, но настойчиво, к выходу, просим привратника ни в коем случае не пускать их больше и продолжаем расследование. Но что мы ответим ворвавшимся? Конечно, Робинсон был убит, потому что он был курильщиком. Все, что говорят приверженцы случая и непредвиденности в истории, совершенно верно и совершенно

логично. Это та же самая бесстыжая логика, которую мы встречаем в *Алисе в Стране Чудес* и *Алисе в Зазеркалье*. Но при всем своем восхищении этими зрелыми примерами оксфордского учебного мира я не поддаюсь такого рода логике. Предпочитаю хранить мои различные способы логического мышления в отдельных отсеках. Манера Доджсона — не манера исторического видения.

Поэтому история является процессом отбора с точки зрения исторической значимости. Еще раз позаимствовав фразу Талькотта Парсона, скажу, что история — это “селективная система” не только познавательных, но и причинных ориентаций в реальности бытия. Историк отбирает из множества причинно-следственных цепочек лишь те, которые представляются ему исторически значимыми, точно так же, как из безбрежного океана фактов он отбирает те, которые имеют значение для его целей; а стандартом их исторической значимости является его способность вписать их в свою картину рационального объяснения и интерпретации. Все другие причинно-следственные цепочки отвергаются им как случайные, не в силу отличия соотношения между причиной и следствием, а потому лишь, что сама цепочка представляется нерелевантной. Историк не может с этим ничего поделать; это не поддается рациональной интерпретации и не имеет значения ни для прошлого, ни для настоящего. Правда, что нос Клеопатры, подагра Баязета, обезьяний укус Александра, или смерть Ленина, или курение Робинсона имели свои результаты. Но нет смысла утверждать вообще, что генералы проигрывают сражения из-за влюбленности в красивых королев, что войны случаются, потому что короли держат домашних животных, что люди попадают под колеса машин, потому что они курят сигареты. Если, с другой стороны, вы скажете обыкновенному человеку, что Робинсон был сбит потому, что водитель был пьян, или потому, что отказали тормоза, или из-за плохой видимости на дороге, это покажется ему вполне разумным и рациональным

объяснением; если ему захочется уточнить, он даже может сказать, что именно это, а не курение Робинсона было истинной причиной его гибели. Точно так же, если вы скажете студенту факультета истории, что сражения 20-х гг. в России имели место из-за конфликтов по поводу темпов индустриализации, или наилучших способов заставить крестьян выращивать хлеб, чтобы кормить город, или из-за личных амбиций лидеров-соперников, он примет их как рациональные и исторически значимые объяснения в смысле их применимости к другим историческим ситуациям, как реальные причины случившегося, в отличие от преждевременной смерти Ленина. Ему можно даже, при наличии у него склонности порассуждать на эту тему, напомнить часто цитируемое, но совершенно неправильно понимаемое высказывание Гегеля во введении к "Философии права", что "все рациональное реально, все реальное рационально".

Давайте на минуту вернемся к причинам гибели Робинсона. Мы без проблем признали, что некоторые из причин были реальными и рациональными, а некоторые — иррациональными и случайными. На основе какого критерия мы проводим это разграничение? Способность мыслить обычно применяется для какой-то цели. Интеллектуалы могут иногда мыслить, или считать, что они мыслят, для развлечения. Но, в широком смысле, человеческие существа мыслят для какой-то цели. И признавая какие-либо объяснения рациональными, а какие-то — нерациональными, мы, как я считаю, проводим грань между объяснениями, которые служат достижению нашей цели, и теми, которые этой цели не служат. В обсуждаемом выше случае имело смысл предполагать, что пресечение злоупотреблений алкоголем со стороны водителей, или более строгий контроль за состоянием тормозов, или улучшение качества дорог могли бы сократить число жертв дорожных происшествий. Но совсем не имело смысла предполагать сокращение дорожных происшествий путем снижения

количества курящих. Именно на основании этого критерия мы и провели такое различие. То же самое справедливо и в случае с нашим отношением к причинам в истории. Здесь тоже мы разграничиваем рациональные и случайные причины. Первые, в силу их потенциальной применимости к другим странам, другим периодам и другим условиям, ведут к плодотворным обобщениям; из них можно извлечь уроки; они служат цели расширения и углубления нашего понимания [*Профессор Поппер как-то споткнулся на этом пункте, не заметив этого. Допустив "плюрализм интерпретаций, находящихся на одном уровне предположительности и спорности" (что бы эти слова ни означали на деле), он добавляет, в качестве вводного оборота, что "некоторые из них могут отличаться плодovitостью — что немаловажно" (The Poverty of Historicism, с. 151). Это не немаловажно: это то, что доказывает, что в конце концов, "историцизм" (в некоторых смыслах этого термина) не так уж и беден*]. Случайные причины не могут быть обобщены; и будучи уникальными в самом полном смысле этого слова, они не преподают никаких уроков и не позволяют делать выводы. Но здесь мне следует уточнить следующее. Именно это понятие конечной цели дает нам ключ к пониманию каузации в истории; и это обязательно влечет за собой вынесение оценочных суждений. Интерпретация в истории, как мы видели в последней лекции, всегда связана с вынесением оценочных суждений, а каузальность всегда связана с интерпретацией. Говоря словами Мейнеке — великого Мейнеке, Мейнеке 20-х годов, — "поиск причинности в истории невозможен без ссылки на ценности... за поиском причин всегда лежит, прямо или косвенно, поиск ценностей" [*Kausalitäten und Werte in der Geschichte (1928), переведена в F. Stern, Varieties of History (1957), с. 268, 273*]. А это перекликается с тем, что я сказал ранее о двойственной и взаимной функции истории — углублять наше понимание прошлого в

свете настоящего, и настоящего — в свете прошлого. Все, что, наподобие влюбленности Антония в нос Клеопатры, не способствует осуществлению этой двойственной цели, с точки зрения историка мертво и бесплодно.

Теперь мне самое время признаться в том неприглядном трюке, которым я обманул вас, но надеюсь, что, поскольку вам нетрудно будет увидеть его насквозь и поскольку он помог мне в ряде случаев сократить и упростить высказываемое, вы будете столь снисходительны, чтобы счесть его стенографическим удобством. До сих пор я постоянно использовал привычную фразу “прошлое и настоящее”. Но, как мы все хорошо знаем, настоящее существует не более, чем концептуально, как воображаемая линия между прошлым и будущим. Говоря о настоящем, я уже тайком протащил в обсуждение другое временное измерение. Было бы легче показать, что, поскольку прошлое и будущее являются частями одного временного отрезка, интерес к прошлому и интерес к будущему взаимосвязаны. Демаркационная линия между доисторическими и историческими временами пересекается, когда люди перестают жить только в настоящем, и начинают сознательно интересоваться и своим прошлым, и своим будущим. История начинается с передачи традиций; а традиция означает перенесение привычек и уроков прошлого в будущее. Записи о прошлом ведутся для блага будущих поколений. “Историческое мышление, — пишет голландский историк Хейзинга, — всегда телеологично” [*J. Huizinga, переведено в Varieties of History, ред. F. Stern (1957), с. 293*]. Сэр Чарльз Сноу недавно написал о Рутерфорде, что “как все ученые... он имел в виду будущее, даже не задумываясь, что оно значило” [*The Baldwin Age, ред. Джон Реймонд (1960), с. 246*]. Подозреваю, что хорошие историки, хотя и того или нет, всегда помешаны на будущем. Помимо вопроса “почему?” историк также задает вопрос “куда?”

5. История как прогресс

Позвольте мне начать с цитирования отрывка из инаугурационной лекции профессора Повика в качестве региус-профессора современной истории в Оксфорде, прочитанной им тридцать лет назад:

"Потребность истории в интерпретации настолько глубока, что, не имея конструктивного взгляда на прошлое, мы можем впасть либо в мистицизм, либо в цинизм" [*F. Powicke, Modern Historians and the Study of History (1955), с.174*].

"Мистицизм" при этом означал бы точку зрения на смысл истории как находящийся вне истории — в царстве теологии или эсхатологии — это точка зрения таких писателей, как Бердяев, Нибур или Тойнби [*"История переходит в теологию"*, — уверенно заявлял Тойнби (*Civilization on Trial, 1948, предисловие*)]. "Цинизм" — это взгляд на историю, примеры которого я цитировал неоднократно, что история не имеет смысла, или имеет множество в равной степени состоятельных или несостоятельных смыслов, или тот смысл, который мы произвольно приписываем ей на свое усмотрение. Это, наверное, два наиболее популярных взгляда на историю сегодня. Но я без колебаний опровергну оба. Тогда нам остается эта странная, но многообещающая фраза "конструктивный взгляд на прошлое". Не имея представления о том, что имел в виду под этой фразой профессор Повик, я попытаюсь проинтерпретировать ее сам.

Как и древняя цивилизация Азии, классическая цивилизация Греции и Рима была в общем-то неисторичной. Мы уже видели, что у отца истории Геродота было мало детей; и писателей античности в целом мало заботило как прошлое, так и будущее. Фукидид верил, что до описываемых им событий не случилось ничего знаменательного, и не ожидал ничего значительного в будущем. Лукреций объяснял безразличие человека к будущему его безразличием к прошлому:

"Посмотрите, насколько нас не волнуют века, которые прошли до нашего рождения. Это зеркало, которая природа ставит перед нами, чтобы мы увидели будущее после нашей смерти" [*De Rerum Natura*, iii, ll/ 992–995].

Поэтические видения более светлого будущего принимали форму картин возврата к золотому веку прошлого — циклический взгляд, уподоблявший исторические процессы процессам природным. История никуда не шла: поскольку прошлое не имело смысла, не имело смысла и будущее. Лишь Вергилий, в своей четвертой эклоге давший классическую картину возврата к золотому веку, в "Энеиде", в порыве вдохновения дошел до понятия цикличности: "Imperium sine fine dedi" была отнюдь не классической мыслью, которая позже принесла Вергилию репутацию квазихристианского пророка.

Именно евреи и после них христиане ввели совершенно новый элемент, постулировав цель, к которой двигался исторический процесс, — телеологический взгляд на историю. Таким образом история приобрела смысл и цель, но за счет потери своего светского характера. Достижение этой цели истории автоматически означало бы ее конец: история сама бы стала теодицеей. Это был средневековый взгляд на историю. Эпоха Ренессанса возродила классический антропоцентрический взгляд на историю и тезис о первичности разума, если не считать того, что пес-

симистический классический взгляд на будущее пришел на замену оптимистическому, основанному на еврейско-христианской традиции. Время, когда-то враждебное и подтачивающее, теперь стало дружелюбным и творческим: сопоставьте “*Damnosa quid non imminuit dies?*” Горацио и “*Veritas temporis filia*” Бэкона. Рационалисты Просвещения, основавшие современную историографию, сохранили еврейско-христианский взгляд, придав цели более светский характер; это помогло им возродить рациональный характер самого исторического процесса. История стала движением вперед к цели совершенствования человеческого сословия на земле. Характер субъекта не помешал Гиббону, величайшему историку времен Возрождения, записать то, что он назвал “приятным выводом о том, что каждая эпоха мировой истории приумножала и продолжает приумножать настоящее богатство, счастье, знание и, возможно, добродетель человеческой расы” [*Gibbon, The Decline and Fall of the Roman Empire, гл. xxxviii; это отступление было сделано по поводу падения западной империи. Цитируя этот отрывок, критик в The Times Literary Supplement от 8 ноября 1960 года спрашивает, имел ли Гиббон в виду действительно это. Конечно, да; взгляд автора отражает скорее время, в котором он живет, чем время, о котором он пишет — данная истина хорошо иллюстрируется этим критиком, который стремится приписать свой скептицизм середины двадцатого века писателю конца восемнадцатого*]. Культ прогресса достиг своей кульминации в то время, когда процветание, власть и самоуверенность Британии были в зените, а британские писатели и историки были наиболее яркими сторонниками этого культа. Это явление слишком хорошо известно, чтобы нуждаться в примерах; и мне остается лишь привести одну — две цитаты, чтобы показать, что вера в прогресс оставалась постулатом всего нашего мышления в со-

всем недавние времена. В отчете 1896 года в проекте *Cambridge Modern History*, который я цитировал в своей первой лекции, Актон говорил об истории как о прогрессивной науке, и во введении к первому тому истории он писал, что “при написании истории мы обязаны допустить в качестве научной гипотезы прогресс в делах человеческих”. В последнем томе истории, опубликованном в 1910 году, Дампьер, бывший моим университетским наставником, не сомневался, что “будущие века увидят безграничность власти человека над природными богатствами и разумность его использования их во благо человека” [*Cambridge Modern History: Its Origin, Authorship, and Production (1907)*, с. 13; *Cambridge Modern History, i, (1902)*, с. 4; *xii (1910)*, с. 791]. Ввиду того, что я собираюсь сказать, справедливости ради мне следует признать, что такова была атмосфера, в которой я получил образование, и что я готов безоговорочно подписаться под словами человека, на полпоколения старше меня, Бертрана Рассела: “Я вырос в атмосфере полновесного викторианского оптимизма, и... во мне осталось что-то от надежд тех времен” [*B. Russell, Portraits From Memory (1956)*, с. 17].

В 1920 году, когда Бюри написал свою книгу *The Idea of Progress*, стали преобладать уже более мрачные настроения, в чем он обвинял, в соответствии с общепринятым мнением, “доктринеров, установивших нынешний режим террора в России”, хотя он все еще описывал прогресс как “оживляющую и контролирующую идею западной цивилизации” [*J.B. Bury, The Idea of Progress (1920)*, с. vii-viii]. Впоследствии эта нота из его высказываний исчезла. Известно, что русский император Николай I издал приказ, запрещающий слово “прогресс”; теперь философы и историки Западной Европы, и даже США, запоздало согласились с ним. Гипотеза прогресса была отвергнута. Упадок Запада стал такой знакомой фразой, что она не нуждается в кавычках. Но

что же все-таки имело место, кроме криков отчаяния? Кем было сформулировано нынешнее мнение? На днях мне пришлось испытать шок, наткнувшись на единственное замечание Бертрана Рассела, в котором его подвело острое чувство класса: “Сейчас в мире в целом намного меньше свободы, чем было столетие назад” [B. Russel, *Portraits From Memory (1956)*, с. 124]. У меня нет инструмента для измерения степени свободы, и я не знаю, как сбалансировать меньшую свободу немногих против большей свободы многих. Но в любой системе измерения я могу рассматривать это заявление как фантастическую неправду. Меня больше привлекают те завораживающие картинки, которые г-н А.Д.П.Тейлор дает об академической жизни в Оксфорде. “Все эти разговоры об упадке цивилизации, — пишет он, — означают лишь, что наша университетская профессура привыкла иметь прислугу в доме, а сейчас ей приходится мыть посуду самой” [Observer, 21 июня 1959]. Конечно, в глазах бывшей домашней прислуги мытье посуды профессорами может символизировать прогресс. Утеря белыми превосходства в Африке, волнующая имперских лоялистов, африканеров-республиканцев и инвесторов в золотые и медные акции, может расцениваться другими как прогресс. Не вижу причины, почему по данному вопросу прогресса я должен *ipso facto* предпочитать вердикт 50-х нашего века вердикту 90-х прошлого, вердикт англоговорящего мира вердикту России, Азии, Африки или вердикт интеллектуала средней руки вердикту человека с улицы, которому, как утверждает г-н Макмиллан, никогда не было так хорошо. Давайте на минуту приостановим вынесение решения по вопросу о том, в какой период мы живем: период упадка или прогресса, и более детально рассмотрим, что же имеется в виду под понятием прогресса, что лежит за ним и в какой степени все это стало несостоятельным.

Прежде всего, мне хотелось бы выяснить, что такое прогресс и эволюция. Мыслители Просвещения придерживались двух явно несовместимых взглядов. Они стремились отстоять место человека в мире природы: законы истории приравнивались к законам природы. С другой стороны, они верили в прогресс. Но где основания для того, чтобы считать природу прогрессивной, видеть ее как постоянно продвигающуюся к конечной цели? Гегель справился с этой трудностью, четко отграничив историю, которая была прогрессивной, от природы, которая таковой не была. Революция Дарвина, как оказалось, устранила все эти сложности, приравняв эволюцию и прогресс: природа, как и история, в конце концов оказалась прогрессивной. Но это открыло путь для еще большей трудности, путаницы между биологическим наследием, источником эволюции и социальными приобретениями как источником прогресса в истории. Различие это знакомо и очевидно. Поместите европейского ребенка в китайскую семью, и ребенок вырастет белым, говорящим на китайском языке. Пигментация есть биологическое наследие, язык — социальное приобретение, передаваемое посредством человеческого мозга. Эволюция через наследственность должна измеряться тысячелетиями или миллионами лет; с начала письменной истории в человеке не произошло ни одного поддающегося измерению биологического изменения. Прогресс через приобретения может измеряться поколениями. Суть человека как рационального существа в том, что он развивает свои потенциальные возможности, аккумулируя опыт прошлых поколений. Мозг современного человека, говорят, не увеличился в объеме, и современный человек своей врожденной способностью мыслить не отличается от своего предка 5000 лет назад. Но эффективность подобного образа мысли была многократно помножена приобретенным и инкорпорированным опытом последующих поколений. Отрицае-

мая биологами передача приобретенных характеристик составляет самую основу социального прогресса. История является прогрессом в силу передачи приобретенных навыков от одного поколения к другому.

Во-вторых, нам нет нужды и не следует воспринимать прогресс как имеющий начало или конец. Ставшее менее популярным, чем пятьдесят лет назад, убеждение в том, что цивилизация была изобретена в долине Нила в четвертом тысячелетии до нашей эры, не внушает сейчас больше доверия, чем хронология, согласно которой создание мира относится к 4004 году до нашей эры. Цивилизация, рождение которой мы вероятно можем взять как отправную точку в нашей гипотезе прогресса, безусловно была не изобретением, но чрезвычайно медленным процессом развития, в котором изредка наблюдались поразительные скачки. Нам нет нужды задаваться вопросом о том, когда начался прогресс, или цивилизация. Гипотеза определенного конца прогресса привела к еще большей неразберихе. Гегеля правомерно осуждали за то, что он видел конец прогресса в Прусской монархии, что явно было результатом преувеличения его интерпретации мнения о невозможности предсказания. Но искажение Гегеля было подхвачено известным викторианцем Арнольдом Рагби, который в своей инаугурационной лекции в качестве регистратора-профессора современной истории в 1841 году в Оксфорде сказал, что современная история будет последней стадией истории человечества: “Оно несет на себе меты полноты времени, как будто за ним не последует больше истории” [*T. Arnold, An Inaugural Lecture on the Study of Modern History (1841), с. 38*]. Предсказание Маркса о том, что пролетарская революция реализовала бы конечную цель бесклассового общества, было в логическом и моральном смысле менее уязвимым; но предположение о конце истории имеет эсхатологический отголосок, кото-

рый более подобает теологу, а не историку, и это возвращает нас к ошибочному понятию внеисторической цели. Без сомнения, идея определенного конца привлекательна для человека; и видение Актоном истории как бесконечного процесса к свободе кажется холодным и туманным. Но если историк должен спасти свою гипотезу прогресса, я считаю, что он должен быть готов рассматривать ее как процесс, промежутки которого наполняются конкретным смыслом исходя из требований и условий следующих друг за другом периодов. Как раз это и имелось в виду в тезисе Актона, что история является не только записью прогресса, но “прогрессивной наукой”, или, если угодно, история прогрессивна в обоих смыслах слова — и как ход событий, и как запись этих событий. Вспомним описание Актоном продвижения свободы в истории:

“Именно благодаря объединенным усилиям слабых, прилагаемым по принуждению, противостоять царству силы и постоянного зла, в процессе быстрых перемен, но медленного прогресса четырехсот лет, свобода была сохранена, защищена, расширена и наконец понята” [*Acton, Lectures on Modern History (1906), с. 51*].

История как ход событий воспринималась Актоном как прогресс к свободе, история как запись этих событий — как прогресс к пониманию свободы: эти два процесса разворачивались рука об руку [*K Mannheim, Ideology and Utopia (пер. на англ., 1936), с. 236, также ассоциирует волю человека “делать историю” с его “способностью понимать ее”*]. Философ Бредли, писавший во времена, когда были модны аналогии с эволюцией, заметил, что “в религиозной вере конец эволюции представлен так... как будто он уже имеет место” [*F.H. Bradley, Ethical Studies (1876), с. 293*]. Для историка конец прогресса еще не начался. Он все еще находится в неопределенном отдалении; и

его указатели появляются лишь по мере нашего продвижения к нему. Это не уменьшает его важности. Компас является ценным и поистине незаменимым поводом. Но он не представляет собой карты маршрута. Содержание истории может быть реализовано лишь по мере того, как мы переживаем ее.

Мой третий пункт заключается в том, что ни один здравомыслящий человек никогда не верил в такой прогресс, который постоянно движется по непрерывной прямой линии без отходов, отступлений и остановок, так, чтобы даже самый крутой поворот назад не обязательно фатально отражался бы на вере. Наряду с периодами прогресса история претерпевает периоды регресса. Более того, было бы опрометчиво предполагать, что после отступления движение вперед начнется с той же самой точки и в том же самом направлении. Три или четыре цивилизации Гегеля или Маркса, двадцать одна цивилизация Тойнби, теория жизненного цикла цивилизаций, проходящих через периоды подъема, спада и распада, — такие схемы сами по себе не имеют смысла. Но они симптоматичны в отношении наблюдаемого факта, свидетельствуя о том, что движущая сила цивилизации умирает в одном месте и позже проявляется в другом, так, что любой наблюдаемый в истории прогресс бесспорно не непрерывен как во времени, так и в пространстве. В самом деле, если бы я увлекался формулированием законов истории, один из этих законов гласил бы, что группа — будь то класс, нация, континент, цивилизация, что угодно, которая в тот или иной момент играет ведущую роль в продвижении общества, почти наверняка не будет играть аналогичную роль в следующем периоде по той простой причине, что она слишком глубоко завязнет в традициях, интересах и идеологиях предыдущего периода, чтобы суметь адаптироваться к требованиям и условиям следующего периода [О диагностике подобной ситуации см. R.S. Lynd, Knowledge for What? (Нью-

Йорк, 1939), с. 88: *“Пожилые люди нашей культуры часто ориентированы на прошлое, на время их энергии и власти, и сопротивляются будущему как угрозе. Вполне возможно, что такую доминантную ориентированность на потерянное золотое время на фоне вялотекущего настоящего можно обнаружить у целой культуры на продвинутой стадии потери ею своей относительной власти и дезинтеграции”*]. Таким образом, вполне может случиться, что то, что одной группе кажется периодом упадка, другой группе представляется рождением нового прорыва. Прогресс не значит и не должен означать одинакового и одновременного прогресса для всех.

Существенно то, что почти все скептики, в последнее время пророчившие упадок, не видящие в истории смысла и полагающие, что прогресс мертв, принадлежат тому сектору мира и тому классу общества, который на протяжении нескольких поколений играл ведущую и доминирующую роль в развитии человечества. Их не утешает то обстоятельство, что роль, которую их группа играла в прошлом, теперь переходит к другим. Совершенно ясно, что история, сыгравшая над ними такой низкий трюк, не может быть полным смысла рациональным процессом. Но если мы желаем сохранить концепцию прогресса, мы должны, по моему, принять условие прерванной линии.

И наконец, я подхожу к вопросу о содержательной сути прогресса в терминах исторических действий. Люди, которые ведут борьбу, скажем, за расширение гражданских прав всех лиц, или за реформирование пенитенциарной системы, или за ликвидацию расового или классового неравенства, сознательно желают заниматься именно этими вещами: они не стремятся осознанно к “прогрессу”, реализации какого-то исторического “закона” или гипотезы. Именно историк применяет свою гипотезу прогресса к действиям и интерпретирует их как прогресс. Но это не подрыв-

вает концепцию прогресса. В этом я рад согласиться с сэром Исайей Берлином, что “прогресс и реакция, как бы ни были затерты эти слова, не есть пустые понятия” [*Foreign Affairs*, xxviii, №3 (июнь 1950), с. 382]. Одной из исходных предпосылок истории является то, что человек способен обогащаться (но не обязательно обогащается) опытом своих предшественников, и что прогресс в истории, в отличие от эволюции в природе, покоится на передаче приобретенных активов. Эти активы включают и материальные владения, и способность осваивать, преобразовывать и использовать свое окружение. В самом деле, эти два фактора очень тесно взаимосвязаны и реагируют друг на друга. Маркс рассматривает человеческий труд как фундамент всего здания; и эта формула представляется приемлемой при условии, что слово “труд” здесь имеет достаточно широкий смысл. Но простое аккумулирование ресурсов — еще не благо, если оно не сопровождается не только расширением технических и социальных знаний и опыта, но и повышением уровня освоения человеком своего окружения в широком смысле слова. В настоящее время немногие поставят под сомнение реализацию прогресса путем аккумулирования материальных ресурсов и научных знаний в освоении окружения в технологическом смысле этого слова. В двадцатом веке под сомнение ставится достижение прогресса в упорядочении жизни общества, освоении социального окружения, как национального, так и международного; ставится даже вопрос о том, не было ли в этом направлении ощутимого регресса. Не отстает ли эволюция человека как социального существа от технологического прогресса?

Симптомы, побуждающие эти вопросы, очевидны. Тем не менее, я считаю все эти вопросы поставленными неверно. История знала много поворотных моментов, когда лидерство и инициатива переходили от одной группы к другой, от одного сектора

мира к другому: период подъема современного государства и перемещение центра власти с берегов Средиземного моря к Западной Европе, период Французской революции — вот наиболее заметные примеры современности. Такие периоды всегда являются временами яростных бунтов и борьбы за власть. Старые авторитеты отмирают, вместо них появляются новые; новый порядок рождается из непримиримого столкновения амбиций и обид. Я бы сказал, что сейчас мы проходим как раз такую стадию. Мне представляется совершенно неверным сказать, что наше понимание проблем социальной организации или наша добрая воля организовать общество в свете такого понимания регрессируют: на деле я бы взял на себя смелость заявить, что они резко возросли. Дело не в уменьшении наших способностей или в падении наших моральных стандартов. Но в период конфликтов и переворотов, из-за смещения баланса власти между континентами, нациями и классами, которое мы переживаем, нагрузка на эти способности и качества резко усиливается, что ограничивает и снижает их эффективность для достижения положительных результатов. При всем том, что я не склонен принижать силу обстоятельств последних пятидесяти лет, которые подорвали веру западного мира в прогресс, я все же не убежден, что прогресс в истории подошел к концу. Но если меня спросят более настоятельно о содержании прогресса, я могу ответить лишь что-то вроде этого: понятие конечной и определяемой цели прогресса в истории, так часто постулируемое мыслителями девятнадцатого века, оказалось неприменимым и бесплодным. Вера в прогресс означает веру не в какой-то автоматический и неизбежный прогресс, но веру в прогрессивное развитие человеческого потенциала. Прогресс — термин абстрактный; и конкретные цели, преследуемые человечеством, появляются время от времени по ходу истории, а не из какого-то постороннего источника. Я не пропо-

веду веру в совершенствование человека или в будущий рай. В этом смысле я бы примкнул к теологам и мистикам, полагающим, что совершенства нельзя достичь. Но меня удовлетворила бы возможность неограниченного прогресса — или прогресса, не подверженного никаким ограничениям, которые мы должны или нам нужно предвидеть, — к целям, которые можно определить лишь по мере продвижения к ним и состоятельность которых можно проверить лишь в процессе их достижения. Не знаю я также, как без такого понятия прогресса могло бы выжить общество. Каждое цивилизованное общество взимает жертвы с поколения живущего ради поколений грядущего. Оправдание таких жертв во имя лучшего мира в будущем — светский вариант оправдания их во имя какой-либо божественной цели. Говоря словами Бюри, “принцип долга перед будущим есть прямое следствие идеи прогресса” [*J.B. Bury, The Idea of Progress (1920), c. ix.*]. Возможно, этот долг не требует оправдания. Если же да, то я не знаю иного способа оправдать его.

Это приводит меня к самому знаменитому затруднению — объективности в истории. Само слово вводит в заблуждение и вызывает вопросы. В своей лекции ранее я уже спорил, что социальные науки — включая историю — не могут приспособиться к теории познания, которая разделяет объект и субъект и настаивает на строгом отделении наблюдателя от наблюдаемого. Нам нужна новая модель, отдающая должное сложности процесса взаимосвязи и взаимодействия между ними.

Факты истории не могут быть чисто объективными, поскольку они становятся таковыми лишь в силу значимости, которую приписывает им историк. Объективность в истории — если мы предпочитаем придерживаться этого традиционного термина — это не объективность фактов, а объективность отношения между фактом и интерпретацией, между прошлым, настоящим и бу-

душим. Мне нет необходимости возвращаться к причинам, по которым я счел неисторической попытку судить об исторических событиях путем возведения в абсолютизм внеисторических стандартов ценности, независимых от истории. Но понятие абсолютной истины тоже не свойственно миру истории или, подозреваю, миру науки вообще. Лишь о простейших формах исторического утверждения можно говорить как об абсолютно истинных или абсолютно ложных. На более изощренном уровне историк, ставящий под сомнение, к примеру, вердикт одного из своих предшественников, как правило осуждает его не как абсолютно неверный, но как неадекватный, односторонний, вводящий в заблуждение, или основанный на точке зрения, которая в свете более поздних данных оказывается устаревшей или нерелевантной. Утверждать, что Русская революция произошла из-за тупости Николая II или гения Ленина — совершенно неадекватно или неадекватно до такой степени, чтобы стать вводящим в заблуждение. Но нельзя сказать, что оно абсолютно ложно. Историк не оперирует абсолютами такого рода.

Давайте вернемся к печальному делу смерти Робинсона. Объективность нашего исследования этого дела зависела не от фактуальной точности — эти факты были бесспорными, — но от разграничения реальных или значительных фактов, которые нас интересовали, и случайных фактов, которые мы могли проигнорировать. Нам было нетрудно провести такое разграничение, потому что наш стандарт или тест на значительность, основа нашей объективности, был ясен, и заключался в том, имели или не имели они отношение к нашей цели, т.е. снижению смертности на дорогах. Но историку везет меньше, чем следователю, перед которым стоит простая и достижимая цель снижения смертности на дорогах. При интерпретации событий историк тоже нуждается в тесте на значительность, который одновременно является

его стандартом значительности, для отделения значительного от случайного; и для него тоже такой стандарт заключается в отношении факта к цели. Но это есть обязательно постепенно разворачиваемая цель, поскольку разворачиваемая интерпретация прошлого является естественной функцией истории. Традиционное допущение, что изменение всегда должно объясняться в терминах установленного и неизменного, в случае с историком не работает. “Для историка, — говорил профессор Батерфилд, возможно, имплицитно оставляя для себя область, в которую историки не должны следовать за ним, — единственным абсолютом является изменение” [*H.Butterfield, The Whig Interpretation of History (1931), с.58. Сравните более тщательно преподнесенное утверждение в A.von Martin, The Sociology of the Renaissance (пер. на англ., 1945), с.1: ”Инерция и движение, статика и динамика являются фундаментальными категориями, с которых следует начинать социологический подход к истории... Истории знакома инерция лишь в относительном смысле: решающий вопрос заключается в том, что доминирует: инерция или изменение”*]. В контексте истории изменение позитивно и абсолютно, инерция субъективна и относительна]. Абсолют в истории — это не что-то из прошлого, с чего мы начинаем; это не что-то из настоящего, поскольку все настоящее мышление по необходимости относительно. Это что-то все еще не завершенное, находящееся на стадии становления, что-то в будущем, к чему мы движемся, которое начинает принимать форму по мере нашего приближения и в свете которого мы постепенно формируем свою интерпретацию прошлого. Это мирская истина, скрытая за религиозным мифом о том, что смысл истории будет раскрыт в Судный день. Наш критерий не является абсолютом в статическом смысле чего-то, что остается неизменным вчера, сегодня, завтра, всегда: такой абсолют несовмес-

тим с природой истории. Но это абсолют в смысле нашей интерпретации прошлого. Он отвергает релятивистский взгляд, согласно которому одна интерпретация так же хороша, как и другая, или каждая интерпретация истинна в свое время и на своем месте; она обеспечивает критерий, которым в конечном счете будет оценена наша интерпретация прошлого. Именно это чувство направления в истории помогает нам упорядочивать и интерпретировать события прошлого — задача историка — а также освободить и организовать человеческую энергию в настоящем с прицелом на будущее — задача государственного деятеля, экономиста, социального реформатора. Но сам процесс остается прогрессивным и динамичным. Наше чувство направления и наша интерпретация прошлого по мере нашего продвижения вперед постоянно видоизменяются и эволюционируют.

Гегель замаскировал свой абсолют в мистическую форму мирового духа и совершил кардинальную ошибку, завершив свой ход истории в настоящем и не проецируя его на будущее. Он признавал процесс постоянной эволюции в прошлом и нелогично отказывал в эволюции будущему. Те, кто со времен Гегеля глубоко задумывался о природе истории, находили ее в синтезе прошлого и будущего. Токвиль, который не совсем освободился от теологической идиомы своего дня и придавал своему абсолюту слишком узкое содержание, тем не менее, хорошо ухватил суть дела. Поговорив о развитии равенства как универсального и перманентного феномена, он продолжает:

"Если бы люди нашего времени увидели постепенное и прогрессивное развитие равенства одновременно и как прошлое, и как будущее своей истории, одно-единственное открытие придало бы тому развитию священный характер воли их лорда и хозяина" [*De Tocqueville, Предисловие к Democracy in America*].

По этой все еще не исчерпанной теме можно было бы написать важную главу истории. Маркс, разделявший некоторые из страхов Гегеля перед будущим, принципиально старался строить свое учение на базе исторического прошлого и был вынужден самим характером данной темы проецировать свой абсолют бесклассового общества на будущее. Бюри описывал идею прогресса немного неуклюже, но четко, с тем же самым намерением, как “теорию, которая имеет дело с синтезом прошлого и предсказанием будущего” [*J.B. Bury, The Idea of Progress (1920), с.5*]. Историки, говорит Намьер в намеренно парадоксальной манере, иллюстрируя свое утверждение обычным для него множеством примеров, “представляют прошлое и помнят будущее”. [*L.B. Namier, Conflicts (1942), с. 70*]. Лишь будущее может снабдить нас ключом к интерпретации прошлого; и именно в этом смысле мы можем говорить о максимальной объективности в истории. В том, что прошлое проливает свет на будущее, а будущее проливает свет на прошлое — одновременно и оправдание, и объяснение истории.

Что же тогда мы имеем в виду, когда хвалим историка за объективность или когда говорим, что один историк объективнее другого? Ясно, что мы хвалим его не потому, что он дает достоверные факты, а потому, что он отбирает правильные факты, или, другими словами, что он применяет правильный тест на значительность. Я думаю, что, называя историка объективным, мы имеем в виду две вещи. Прежде всего, мы имеем в виду его способность подняться над ограниченным видением своей собственной ситуации в обществе и в истории — способность, которая, как я предположил в более ранних лекциях, отчасти зависит от его способности признать степень своей вовлеченности в такой ситуации, способность признать невозможность полной объективности. Во-вторых, мы имеем в виду его способность про-

ецировать свое видение на будущее таким образом, который позволяет ему видеть более глубоко и полно прошлое, что непосильно тем историкам, чье мировоззрение полностью обусловлено их собственным непосредственным окружением. Сегодня ни один историк не разделяет уверенность Актона в перспективах “конечной истории”. Но некоторые историки пишут истории, которые дольше выдерживают испытание временем, имеют более объективный характер и больше нацелены на будущее, чем другие; и это историки, имеющие то, что я называю долгосрочным видением как прошлого, так и будущего. Историк прошлого может приблизиться к объективности лишь по мере приближения к пониманию будущего.

Поэтому, когда я говорил в прошлой лекции об истории как о диалоге между прошлым и настоящим, мне следовало назвать его скорее диалогом между событиями прошлого и прогрессивно нарастающими будущими целями. Интерпретация прошлого историком, его отбор значительных и уместных фактов развиваются вместе с прогрессивным появлением новых целей. Как простейший пример могу привести такой случай: если главной целью дня являлась организация конституционных свобод и политических прав, историк интерпретировал прошлое в конституциональных и политических терминах. Когда конституционные и политические цели уступили место экономическим и социальным, историки обратились к социально-экономической интерпретации прошлого. В этом процессе скептик мог бы правдоподобно утверждать, что новая интерпретация не более истинна, чем старая; каждая хороша для своего собственного времени. Тем не менее, поскольку увлечение экономическими и социальными целями представляет более продвинутую стадию человеческого развития, чем увлечение политическими и конституционными целями, могут сказать, что экономическая и социальная

интерпретация истории представляет более продвинутую ступень истории, чем чисто политическая интерпретация. Старая интерпретация не отвергается, но включается в новую и совершенствуется в ней. Историография — наука прогрессивная в том смысле, что она все время стремится дать более широкое и более глубокое понимание хода событий, что само по себе уже прогрессивно. Вот что я должен иметь в виду, говоря о нашей потребности в “позитивном взгляде на прошлое”. Современная историография выростала в последние два столетия в обстановке этой двойственной веры в прогресс, и она не сможет выжить без нее, поскольку именно эта вера обеспечила ее стандартами значительности, критерием разграничения между реальным и случайным. Гете, в одной из бесед последнего периода своей жизни, разрубил этот гордиев узел довольно грубо:

“Когда эпохи приходят в упадок, все тенденции субъективны; но, с другой стороны, в условиях созревающей новой эпохи все тенденции объективны” [*Цит. по J. Huizinga, Men and Ideas (1959), с. 50*].

Никто не обязан верить ни в будущее истории, ни в будущее общества. Возможно, наше общество будет уничтожено или погибнет в медленном разрушении, и история снова обратится к теологии — то есть, к изучению не человеческих достижений, а божественного предназначения — или превратится в литературу, в рассказывание легенд без цели или смысла. Но это не будет история в том смысле, в котором мы знали ее на протяжении последних двухсот лет.

Мне еще предстоит рассмотреть знакомое и популярное возражение любой теории, которая ищет высшего критерия исторического суждения в будущем. Говорят, такая история подразумевает, что высшим критерием суждения является успех, и это правильно, чем бы она ни была и ни будет. За прошедшие двести

лет большинство историков не только определили направление, в котором движется история, но и сознательно или бессознательно уверовали в то, что это направление было в целом правильным, что человечество двигалось от худшего к лучшему, от более низкого к более высокому. Историки не только признали это направление, но и утвердили его. Тестом на значительность, который применялся ими в их подходе к прошлому, было не только чувство курса, которым двигалась история, но и чувство их собственной моральной вовлеченности в этот курс. Предполагаемая дихотомия между “есть” и “должно быть”, между фактом и ценностью была разрешена. Это был оптимистический взгляд, продукт эпохи льющейся через край уверенности в будущем; виги и либералы, гегельянцы и марксисты, теологи и рационалисты, оставались твердыми и более или менее явно преданными ему. За 200 лет он мог бы быть описан без особых преувеличений как общепринятый и имплицитный ответ на вопрос “что такое история?”. Реакция против него наступила с приходом преобладающего сейчас настроения страха и пессимизма, оставившего широкое поле деятельности для теологов, которые ищут смысл истории вне истории, и для скептиков, которые вообще не находили в истории никакого смысла. Нас со всех сторон убеждают, и убеждают очень эмоционально, в том, что дихотомия между “есть” и “должно быть” абсолютна и неразрешима, что “ценности” нельзя извлечь из “фактов”. На мой взгляд, это ложный след. Давайте посмотрим, как несколько наугад выбранных историков, или писателей истории, смотрели на этот вопрос.

Гиббон оправдывает чрезмерность внимания, которое он уделил победам ислама, тем, что “ученики Мохаммеда все еще держат скипетр гражданской и религиозной власти в восточном мире”. Но, добавляет он, “те же самые усилия были бы незаслуженно обращены на несметные полчища варваров, которые меж-

ду седьмым и двенадцатым веком сошли с долин Скифии”, поскольку “величие Византийского трона отразило и пережило эти беспорядочные атаки” [Gibbon, Decline and Fall of the Roman Empire, гл. IV]. Это не кажется неразумным. В целом история есть запись того, что делали люди, а не того, что они не сделали: в силу этого история неизбежно является рассказом об успехах. Профессор Тауни заметил, что историки придают существующему порядку “ауру неизбежности”, “вынося на первый план силы побеждающие и отбрасывая на задний план те, которые они поглотили” [R.H.Tawney, The Agrarian Problem in the Sixteenth Century (1912), с. 177]. Но не в этом ли и заключается труд историка? Историк не должен недооценивать оппозицию; он не должен представлять победу как увеселительную прогулку, даже если она далась легко. Иногда потерпевшие поражение делали такой же большой вклад в конечный результат, как и победители. Это истина, знакомая всем историкам. Но в целом историка интересуют те, кто добился чего-то, будь это победитель или побежденный. Я не специалист в истории крикета. Но ее страницы кажутся испещренными именами тех, кто сотнями набирал очки, а не именами проигравших. Знаменитый тезис Гегеля о том, что в истории “в поле внимания попадают лишь те народы, которые сформировали государство” [Lectures on the Philosophy of History (пер.на англ., 1884), с.40], справедливо подвергался критике как придающий исключительную ценность одному типу социальной организации и проторивший путь отталкивающему культу государства. Но, в принципе, то, что пытается сказать Гегель, правильно и отражает знакомое различие предыстории и истории; лишь народы, преуспевшие в организации своего общества, в какой-то мере перестали быть примитивными дикарями и вошли в историю. Карлейль в своей “Французской революции”

назвал Луи XV “воплощением мирового неприличия”. Ему явно нравилась эта фраза, потому что позже он приукрасил ее:

“Что это за новое универсальное головокружительное движение: институтов, социальных устройств, индивидуальных умов, которые когда-то работали в тесном сотрудничестве друг с другом, а сейчас катятся и перемальваются поодиночке, сталкиваясь друг с другом? Неизбежно; это распад наконец-то измотанного мирового неприличия” [T. Carlyle, *The French Revolution*, I, i, гл. 4; i, iii, гл. 7].

Это критерий опять-таки исторический: что подходило одной эпохе, стало неприличием в другой, и потому осуждается. Даже сэра Исайя Берлин, опускаясь с высот философской абстракции к рассмотрению конкретных исторических ситуаций, кажется, разделяет это мнение. В какой-то передаче после опубликования его эссе об *Исторической неизбежности* он хвалил Бисмарка, невзирая на его моральные недостатки, как “гения” и “величайший пример политика последнего столетия, обладающего высочайшими способностями политического мышления”, и выгодно сравнивал его с Иосифом II Австрии, Робеспьером, Лениным и Гитлером, которые не сумели реализовать свои положительные цели”. Мне этот вердикт представляется странным. Но что в данный момент интересует меня, так это критерий оценки. Бисмарк, утверждает сэра Исайя, понимал материал, с которым он работал; другие увлекались абстрактными теориями, которые не оправдали себя. Отсюда мораль: неудачи происходят от сопротивления тому, что работает лучше всего... в пользу какого-то систематического метода или принципа, претендующего на универсальную пригодность” [Передача “On Political Judgement” на Би-Би-Си, третья программа, 19 июня 1957 года]. Другими словами, критерием оценки в истории является не некий “принцип, претендующий на универсальную пригодность”, но тот, “который работает лучше всего”.

Вряд ли стоит говорить, что мы прибегаем к этому критерию “того, что срабатывает лучше всего” не только при анализе прошлого. Если кто-то сообщил бы вам, что он считает желательным, при сложившихся обстоятельствах, объединение Великобритании и США в рамках одного государства и одного суверенитета, вы могли бы принять такую точку зрения как разумную. Если он далее утверждал бы, что как форма управления конституционная монархия предпочтительнее президентской демократии, вы также могли бы согласиться с этим как с разумным утверждением. Но, предположим, после этого он сказал бы вам, что собирается посвятить себя борьбе за воссоединение этих стран под британской короной, вы наверняка бы ответили, что это будет пустой тратой времени. Пытаясь объяснить это, вы наверняка сказали бы ему, что вопросы подобного рода должны дебатироваться не на основе какого-то общеупотребительного принципа, но на основе того, что оказалось бы эффективным в данных исторических условиях; вы могли бы даже впасть в кардинальный грех ссылки на Историю с большой буквы и сказать, что История против этого. Делом политика является не просто рассмотрение морально или теоретически желаемого, но и существующих в мире сил, и того, как их можно было бы направить или, возможно, подтолкнуть к хотя бы частичной реализации преследуемой цели. Наши политические решения, в свете нашей интерпретации истории, коренятся в этом компромиссе. Но и наша интерпретация истории также берет начало из того же самого компромисса. Нет ничего более ложного, чем установление каких-то предположительных абстрактных стандартов желаемого и осуждение прошлого с точки зрения этих стандартов. Давайте заменим слово “успех”, которое приобрело завистливые коннотации, нейтральным “то, что срабатывает лучше всего”. Поскольку в этих лекциях я вступал в спор с сэром Исайей

Берлином по нескольким вопросам, я был бы рад закрыть наш счет по крайней мере этой степенью согласия с ним.

Однако принятие критерия “то, что срабатывает лучше всего” не делает его более легко применимым или самоочевидным. Это не критерий, который провоцирует скоропалительные вердикты или пасует перед точкой зрения, что все, что существует, верно. История не знает беременных провалом. История признает то, что можно назвать “отсроченным достижением”: явные провалы сегодняшнего дня могут оказаться неоценимым вкладом в достижения дня завтрашнего — это пророки, рожденные преждевременно. В самом деле, одно из преимуществ данного критерия над критерием предположительно твердого и универсального принципа заключается в том, что он может потребовать от нас отложить наше решение или квалифицировать его в свете неслучившегося. Прудон, свободно изъяснявшийся на языке абстрактных принципов морали, простил переворот Наполеона III после того, как тот свершился; Маркс, отвергавший абстрактные принципы морали, осуждал Прудона за это. Оценивая это с точки зрения исторической перспективы, мы наверное согласимся, что Прудон был неправ, а Маркс — прав. Достижение Бисмарка является отличным началом изучения данной проблемы исторической оценки; и, принимая критерий сэра Исаяи Берлина “того, что срабатывает лучше всего”, я все же не могу не удивляться узости и кратковременности рамок, пределами которых он явно довольствуется при его применении. Разве то, что сделал Бисмарк, “сработало действительно хорошо”? Я бы считал, что оно привело к ужасающей катастрофе. Это не значит, что я стремлюсь осудить Бисмарка, создавшего германский рейх, или те массы немцев, которые хотели его и помогали создать его. Но как у историка, у меня возникает масса вопросов. Случилась ли финальная катастрофа из-за того, что в структуре рейха су-

ществовали скрытые недостатки; или потому, что породившие его внутренние условия предопределили его последующую склонность к самоутверждению и агрессии; или потому, что при создании рейха европейская или мировая арена была уже слишком переполнена, а экспансионистские тенденции существующих великих держав уже настолько сильны, что появление еще одной великой державы стало достаточным поводом для того, чтобы вызвать главную коллизию и обратить в руины всю систему? В свете последней гипотезы, может быть, неверно считать Бисмарка и немецкий народ ответственными или единственно ответственными за случившееся: нельзя в самом деле винить последнюю каплю за переполненность чаши. Но историку еще предстоит объективно оценить достижение Бисмарка и его последствия, и я не уверен, что он уже в состоянии ответить на эти вопросы со всей определенностью. Я бы сказал, что историк 20-х гг. был ближе в объективной оценке, чем историк 80-х гг. прошлого века, а историк сегодняшнего дня — ближе, чем историк 20-х гг.; историк же 2000 года может оказаться еще ближе. Это иллюстрирует мой тезис о том, что объективность в истории не основана и не может быть основана на каком-либо установленном и неподвижном заданном стандарте оценки, она использует лишь стандарты, заложенные в будущем, и раскрывается по мере развертывания хода исторических событий. История обретает смысл и объективность лишь тогда, когда она устанавливает связь между прошлым и будущим.

Давайте еще раз взглянем на псевдодихотомию факта и ценности. Ценность не может извлекаться из фактов. Это утверждение отчасти верно, отчасти неверно. Достаточно рассмотреть систему ценностей, преобладающих в тот или иной период или в той или иной стране, чтобы понять, в какой значительной степени она формируется фактами окружения. В одной из своих лекций

я уже привлекал внимание к изменчивому историческому содержанию ценностных слов типа свобода, равенство, справедливость. Или возьмите христианскую церковь как институт, занимающийся главным образом пропагандой моральных ценностей. Сопоставьте ценности раннего христианства с ценностями средневекового папства или последние с ценностями протестантской церкви девятнадцатого века. Или сопоставьте ценности, скажем, христианской церкви в Испании с ценностями христианских церквей в США. Эти различия в ценностях коренятся в различиях исторических фактов. Или посмотрите на исторические факты, которые за последние полтора столетия привели к рабству или расовому неравенству или эксплуатации детского труда, — все они когда-то признавались морально нейтральными или достаточно уважаемыми, чтобы не считаться аморальными. Утверждение, что ценности не могут быть объяснены фактами, по меньшей мере односторонне и неверно. Или давайте поставим это утверждение с ног на голову. Факты не могут быть следствием ценностей. Это отчасти правда, но может быть признано и неверным, поскольку требует оговорок. Вопросы, которые мы задаем в нашем стремлении узнать факты, и, следовательно, ответы, которые мы получаем, подсказываются нашей системой ценностей. Наша картина фактов окружения формируется нашими ценностями, т.е. категориями, в которых мы эти факты рассматриваем; и эта картина является одним из важнейших фактов, которые мы обязаны принять во внимание. Факты пронизаны ценностями, последние составляют существенную часть первых. Наши ценности есть существенная часть нашей экипировки как человеческих существ. Именно через свои ценности мы приобретаем способность адаптироваться к нашему окружению, и адаптировать к себе наше окружение, осваиваем его, что как раз и является историей нашего прогресса. Но, драматизируя борьбу

человека с его окружением, не устанавливайте ложной антитезы и не проводите ложного отграничения фактов от ценностей. Прогресс в истории достигается через взаимозависимость и взаимодействие фактов и ценностей. Объективный историк — это тот историк, который проникает наиболее глубоко в этот взаимосвязанный процесс.

Ключом к проблеме фактов и ценностей можно считать наше обычное использование слова “истина” — слова, которое расщепляет между миром фактов и миром ценностей, состоя из элементов обоих миров. И это не идиосинкразия английского языка. Слова, обозначающие это явление в латинских языках, немецкое *Wahrheit*, русское “правда” [*случай со словом “правда” особенно интересен, поскольку в русском языке есть еще одно слово с таким же значением — “истина”. Но различие между ними не в обозначении истины как факта и истины как ценности; правда есть человеческая истина в обоих смыслах, истина — божественная правда в обоих смыслах — истина о боге и истина, раскрываемая богом*] — все они обладают таким двойственным характером. В каждом языке есть нужда в слове “истина”, которое не является лишь утверждением факта и не является лишь выражением оценки, но охватывает оба элемента. То, что я ездил в Лондон на прошлой неделе, может быть лишь фактом. И вы бы не назвали его истиной: он лишен какого бы то ни было оценочного содержания. С другой стороны, когда отцы — основатели США в Декларации Независимости ссылались на самоочевидную истину, что все люди созданы равными, можно почувствовать, что ценностное содержание утверждения доминирует над фактуальным, и потому может вызвать сомнение в его праве рассматриваться как истина. Область исторической истины лежит где-то между этими двумя полюсами — северным полюсом не имеющих ценности фактов и южным полюсом оце-

ночных суждений, стремящихся преобразоваться в факты. Историк, как я сказал в своей первой лекции, балансирует между фактом и интерпретацией, между фактом и ценностью. Он не может разделить их. Возможно, в статическом мире есть нужда в четком разграничении между фактом и ценностью. Но в статическом мире история бессмысленна. История по сути своей есть изменение, движение, или — если вы не будете придирайтесь к старомодному слову — прогресс.

Поэтому в заключение я возвращаюсь к описанию прогресса Актоном как “научной гипотезы, исходя из которой пишется история”. Вы можете, если угодно, превратить историю в теологию, поставив значение прошлого в зависимость от каких-то вне-исторических сверхрациональных сил. Можете превратить ее в литературу — сборник рассказов и легенд о прошлом без всякого смысла или значения. Собственно история может писаться лишь теми, кто находит и принимает чувство направления в самой истории. Убеждение в том, что мы пришли откуда-то, тесно связано с верой в то, что мы идем куда-то. Общество, потерявшее веру в свою способность к прогрессу в будущем, быстро потеряет интерес к прогрессу в прошлом. Как я сказал в начале своей первой лекции, наш взгляд на историю отражает наш взгляд на общество. Теперь я возвращаюсь к своему первоначальному пункту, объявляя о своей вере в будущее общества и в будущее истории.

6. Расширяющиеся горизонты

Излагаемая в этих лекциях концепция истории как постоянно движущегося процесса с историком, движущимся внутри него, обязывает меня сделать какие-то заключительные соображения относительно положения истории и историка в наше время. Мы живем в эпоху, когда — не впервые в истории — в воздухе носятся и тяжело давят на всех предсказания мировой катастрофы. Их нельзя ни доказать, ни опровергнуть. Но во всяком случае они намного менее уверенны, чем предсказание о том, что все мы умрем, и поскольку уверенность в этом предсказании не мешает нам строить планы на будущее, постольку я продолжу обсуждение настоящего и будущего нашего общества на том основании, что эта страна — или, если не она, то какая-то часть планеты — переживет все эти угрожающие нам опасности, и что история будет продолжаться.

В середине двадцатого века мир находится в процессе перемен, наверное наиболее глубоких и стремительных из всех, которые когда-либо знало человечество со времен средневековья, когда мир рухнул, и в пятнадцатом и шестнадцатом веках были заложены основы современного мира. Изменение бесспорно является результатом научных открытий и изобретений, их более крупномасштабного применения и прямо или косвенно вытекающего из них дальнейшего развития. Наиболее заметной

формой изменений является социальная революция, сопоставимая с таковой в пятнадцатом и шестнадцатом веках, произведенная с приходом к власти нового класса, возникшего на финансах и коммерции, а позже индустрии. Новая структура нашей индустрии и новая структура нашего общества представляют проблемы, слишком широкие, чтобы обсуждаться здесь. Но изменение имеет два аспекта, имеющих непосредственное отношение к моей теме — то, что я могу назвать изменением глубины и изменением географического ареала. Ниже я попытаюсь затронуть каждый из них.

История начинается, когда люди начинают размышлять о течении времени не в терминах естественных процессов — циклов времен года, длительности жизни человека — но в терминах серии конкретных событий, в которых сознательно действуют люди и на которые они могут сознательно воздействовать. История, говорит Буркхардт, “есть разрыв с природой, вызванный пробуждением сознания” [*J.Burckhardt, Reflections on History (1959), с. 31*]. История есть долгая борьба человека, использующего свой разум для того, чтобы понять свое окружение и воздействовать на него. Но современный период революционно расширил сферу борьбы. Сейчас человек стремится понять и воздействовать не только на свое окружение, но и на самого себя; и это добавило, так сказать, новое измерение к нашему пониманию разума и истории. Настоящее время является наиболее широкомыслящим в историческом плане. Современный человек обладает беспрецедентным самосознанием, и потому он очень осознанно относится к своей истории. Он с интересом вглядывается в сумерки, из которых он появился, в надежде, что их слабые лучи осветят неизвестность, к которой он движется; и наоборот, его устремления и волнения о предстоящем обостряют его понимание прошлого. Прошлое, настоящее и будущее соединены вместе в бесконечной цепи истории.

Изменения в современном мире, которые заключались в развитии человеческого самосознания, начались с Декарта, который первым определил положение человека как существа, способного не только мыслить, но и размышлять о своем мышлении, способного наблюдать себя в процессе наблюдения, так что человек является одновременно и субъектом, и объектом мысли и наблюдения. Но развитие не проявлялось столь явно вплоть до последней четверти восемнадцатого века, когда Руссо открыл новые глубины человеческого самопонимания и самосознания и вооружил человека новым взглядом на мир природы и на традиционную цивилизацию. Французская революция, сказал де Токвиль, была вдохновлена “верой в необходимость заменить комплекс традиционных обычаев, управляющих общественным порядком, простыми элементарными правилами, продиктованными человеческим разумом и естественным правом” [*A. de Tocqueville, De l’Ancien Regime, III, гл.1*]. “Никогда до этого, — писал Актон в одной из своих рукописей, — люди не искали свободу осознанно, зная, что именно они ищут” [*Cambridge University Library: Add. MSS.: 4870*]. Для Актона, как и для Гегеля, свобода и разум никогда не были далеки друг от друга. А с Французской революцией стали связывать Американскую.

“Сорок семь лет назад наши отцы принесли на этот континент новую нацию, зачатую в свободе и преданную идее всеобщего равенства людей”.

Как видно из слов Линкольна, это было уникальным событием — впервые в истории люди намеренно и сознательно сформировались в нацию и затем сознательно и намеренно стали привлекать в нее других людей. В семнадцатом и восемнадцатом веках люди уже полностью осознавали мир вокруг себя и его законы. Последние уже не были загадочными указами непроницаемого провидения, а стали доступны разуму. Но это были законы,

которым подчинялся человек, а не законы, созданные самим человеком. На следующей стадии человек должен был осознать свою власть над окружением и над самим собой, и свое право самому создавать законы, по которым он живет.

Переход от восемнадцатого века к современному миру был долгим и постепенным. Его представителями в области философии были Гегель и Маркс, позиции которых были неоднозначными. Гегель исходит из идеи законов провидения, преобразованных в законы разума. Мировой дух Гегеля крепко ухватил провидение одной рукой, а разум — другой. Он вторит Адаму Смиту. Индивидуумы “удовлетворяют свои собственные интересы; но достигается что-то большее, скрытое в их действиях, хотя и не присутствующее в их сознании”. О рациональной цели мирового духа он пишет, что люди “в самом акте осознания его пользуются этим как случаем для удовлетворения своих желаний, суть которых отличается от этой цели”. Это просто гармония интересов, переведенная на язык немецкой философии [*Цитаты взяты из "Философии истории" Гегеля*]. Гегелевским эквивалентом “скрытой руки” Смита была хитрость ума, которая заставляет людей работать во имя исполнения целей, которых они не осознают. Но Гегель был тем не менее философом Французской революции, первым философом, увидевшим суть реальности в историческом изменении и в развитии человеческого самосознания. Развитие в истории означает развитие в направлении свободы. Но после 1815 года настроения Французской революции угасли в депрессии времен Реставрации. Гегель был робким политиком, и в свои более поздние годы он слишком сильно увяз в истеблишменте своего времени, чтобы внести какой-то конкретный смысл в свои метафизические построения. Особенно меткое описание доктрин Гегеля мы находим у Герцена, назвавшего их “алгеброй революции”. Гегель обеспечил схему, не наполнив

ее конкретным содержанием. Марксу предстояло вписать арифметику в алгебраические уравнения Гегеля.

Ученик и Адама Смита, и Гегеля, Маркс начал с концепции мира, организованного рациональными законами природы. Как и Гегель, но в практической и конкретной форме, он перешел к концепции мира, организованного по законам, развивающимся в ходе рационального процесса, в ответ на революционную инициативу человека. В финальном синтезе Маркса история означала три вещи, неотделимые друг от друга и составляющие связанное и рациональное целое: движение событий в соответствии с объективными и преимущественно экономическими законами; соответствующее развитие мысли в ходе диалектического процесса; и соответствующее действие в форме классовой борьбы, которая примиряет и соединяет теорию с практикой революции. То, что предлагает Маркс, является синтезом объективных законов и осознанных действий, претворяемых на практике в форме того, что мы иногда (хотя и неверно) называем детерминизмом и волюнтаризмом. Маркс постоянно пишет о законах, которым человек до сих пор безотчетно подчинялся: он не раз привлекал внимание к тому, что он называл “ложным сознанием” людей, опутанных капиталистическими экономическими и социальными отношениями: “концепции, формируемые о законах производства в умах агентов производства и обращения, будут сильно отличаться от реальных законов” [*Capital, iii (перевод на англ., 1909), с.369*]. Но у Маркса можно найти поразительные примеры призывов к осознанным революционным действиям. “Философы интерпретировали мир по-разному, — утверждал он в своих знаменитых “Тезисах о Фейербахе”, — но суть в том, что надо изменить его”. “Пролетариат, — говорилось в “Коммунистическом Манифесте”, — использует свое политическое превосходство, чтобы шаг за шагом лишить буржуазию всего капитала и скон-

центрировать все средства производства в руках государства”. А в “Восемнадцатом брюмера Луи Бонапарта” Маркс говорил об “интеллектуальном самосознании, размывающем на протяжении столетия все традиционные идеи”. Именно пролетариату предстояло размывать ложное самосознание капиталистического общества и ввести истинное сознание бесклассового общества. Но провал революций 1848 года был серьезным и драматическим отступлением от хода событий, который казался неминуемым в то время, когда Маркс начал работать. Последняя четверть девятнадцатого века прошла в атмосфере все еще преобладавшего процветания и безопасности. Мы завершили переход к современному периоду истории к началу нового века, в котором первичной функцией разума уже являлось не понимание объективных законов, управляющих поведением человека в обществе, а передел общества и составляющих его лиц путем сознательных действий. По Марксу, “класс”, хотя и нечетко определенный, остается в целом объективным понятием, которое может быть определено в результате экономического анализа. У Ленина акцент перемещается от “класса” к “партии”, составляющей авангард класса и внедряющей в него необходимый элемент классового самосознания. По Марксу, “идеология” — термин негативный, это продукт ложного самосознания капиталистического способа организации общества. По Ленину, “идеология” становится нейтральной или позитивной верой, насаждаемой элитой классово мыслящих лидеров в массе потенциально классово сознательных рабочих. Формирование классового самосознания уже рассматривается не как автоматический процесс, а как труд, который надо приложить.

Другим великим мыслителем, добавившим новое измерение к нашему взгляду на разум, в наше время был Фрейд. Фрейд и сегодня остается несколько загадочной фигурой. По образова-

нию и воспитанию он был либеральным индивидуалистом девятнадцатого века, принимавшим без сомнения общее, но неверное представление о фундаментальном противостоянии между личностью и обществом. Рассматривая человека скорее как биологическое, а не социальное создание, Фрейд был склонен считать социальное окружение чем-то исторически заданным, а не тем, что находится в постоянном процессе создания и преобразования самим человеком. Он постоянно подвергался нападкам марксистов за то, что подходил к социальным проблемам с точки зрения индивида, и осуждался из-за этого как реакционер; и это обвинение, лишь отчасти справедливое по отношению к Фрейду, намного больше касается нынешней школы неофрейдизма в США, которая полагает, что плохая приспособляемость свойственна личности, а не обществу, считает адаптацию индивида к обществу существенной функцией психологии. Другое популярное обвинение против Фрейда сводится к тому, что он расширил рамки иррационального в делах человеческих, что совершенно неверно и объясняется грубым смешением признания иррационального элемента человеческого поведения и культа иррационального. К сожалению, правда, что культ иррационального в самом деле существует в сегодняшнем англоязычном мире, главным образом в форме обесценивания достижений и потенциала разума; это часть преобладающей сегодня волны пессимизма и ультраконсерватизма, на которых я остановлюсь позже. Но это исходит не от Фрейда, бывшего неквалифицированным и довольно примитивным рационалистом. Фрейд расширил рамки нашего знания и понимания путем обнажения бессознательных корней человеческого поведения перед сознанием и рациональным изучением. Это было расширение сферы разума, усиление власти человека понимать и контролировать себя и потому свое окружение; и это представляет собой революционное и прогресс-

сивное достижение. В этом отношении Фрейд дополняет Маркса, а не противостоит ему. Фрейд принадлежит современному миру в том смысле, что он сам не полностью избежал концепции постоянной и неизменной природы человека, он снабдил нас инструментом для более глубокого понимания корней человеческого поведения, и таким образом для его осознанного видоизменения через рациональные процессы.

В глазах историка теория Фрейда имеет двоякую значимость. Во-первых, Фрейд забил последний гвоздь в гроб древней иллюзии о том, что мотивы, по которым люди в их представлении действуют, фактически адекватны как объяснение их действий: это важный отрицательный вывод, хотя к позитивным претензиям некоторых энтузиастов пролить свет на поведение великих людей истории методами психоанализа следует относиться скептически. Процедура психоанализа базируется на перекрестном допросе исследуемого пациента, а вы не можете подвергнуть перекрестному допросу мертвых. Во-вторых, поддерживая Маркса, Фрейд поощрял попытки историков изучить самих себя и свою собственную позицию в истории, мотивы — возможно, скрытые, — которыми они руководствовались при выборе темы или периода, подборе и интерпретации фактов, национальный и социальный фон, предопределивший их угол зрения, концепцию будущего, которая формирует концепцию прошлого. Со времени Маркса и Фрейда у историков нет больше оправданий для того, чтобы считать себя отстраненными от общества и от истории индивидами. Это эпоха самосознания: историк может и должен знать, что он делает.

Переход к тому, что я называю современным миром, — прорыв к новым сферам функционирования и власти разума — еще не завершен: это часть революционных перемен, которые претерпевает сейчас двадцатый век. Я бы хотел остановиться на некоторых основных симптомах этого перехода.

Начнем с экономики. Вплоть до 1914 года вера в объективные экономические законы, управлявшие экономическим поведением людей и народов, которую последние могли игнорировать лишь в ущерб себе, фактически все еще оставалась бесспорной. Торговые циклы, колебания цен, безработица предопределялись этими законами. Еще в 1930 году, с наступлением великой депрессии, эта вера оставалась доминирующей. После этого события стали развиваться более быстрыми темпами. В 30-х гг. начали говорить о “конце экономического человека”, имея в виду, что человек последовательно преследовал свои экономические интересы в соответствии с экономическими законами; и с тех пор никто, кроме нескольких Рип ван Уинклей девятнадцатого века, не верил в экономические законы в таком смысле. Сегодня экономика стала либо серией теоретических математических уравнений, или практическим изучением того, как одни люди выталкивали других. Изменение есть главным образом продукт перехода от индивидуального капитализма к капитализму крупномасштабному. До тех пор, пока преобладал индивидуальный предприниматель и торговец, никто, казалось, не был в состоянии контролировать экономику или влиять на нее значительным образом; и сохранялась иллюзия безличных законов и процессов. Даже Банк Англии во времена величия своей власти рассматривался не как умелый оператор и манипулятор, а как объективный и квазиавтоматический регистратор экономических тенденций. Но с переходом от экономики *laissez-faire* к управляемой экономике (будь то капиталистическая или социалистическая, экономика крупных или мелких капиталистов, экономика концернов или государственная экономика) эта иллюзия развеялась. Стало ясно, что некоторые лица принимают определенные решения для достижения определенных целей, и что эти решения определяют наш экономический курс. Все сегодня зна-

ют, что цена нефти или мыла меняется не в силу какого-то объективного закона спроса и предложения. Каждый знает или думает, что знает, что спады и безработица — дело рук человеческих; правительства считают, фактически претендуют на то, что они знают, как избавиться от них. Произошел переход от экономики *laissez-faire* к экономике планирования, от бессознательной к осознанной, от веры в объективные экономические законы к убеждению в том, что человек своими действиями может стать хозяином своей экономической судьбы. Социальная политика шла рука об руку с экономической: на деле экономическая политика была инкорпорирована в социальную. Позвольте процитировать из последнего тома первого издания *Cambridge Modern History*, опубликованного в 1910 году, очень проницательный комментарий писателя, который был кем угодно, только не марксистом, и наверное никогда не слышал о Ленине:

"Вера в возможность осуществления социальной реформы путем осознанных усилий является доминирующей в европейских умах; она вытеснила веру в свободу как панацею... Ее распространенность сегодня столь же значительна и столь же чревата последствиями, как вера в права человека во времена Французской революции" [*Cambridge Modern History*, xii, с. 15; автор главы — S.Leathes, один из редакторов *History* и член комиссии по гражданской службе].

Сегодня, спустя пятьдесят лет после того, как были написаны эти строки, спустя сорок лет после Русской революции и тридцать лет после великой депрессии, это убеждение стало общепризнанным; и переход от покорности объективным экономическим законам, которые, будучи рациональными, все же находились вне контроля человека, к вере в способность человека контролировать свою экономическую судьбу, в моих глазах представляется прогрессом в использовании разума в делах челове-

ческих, повышением способности человека понимать и осваивать себя и свое окружение, которое я должен быть готов называть старомодным словом прогресс.

У меня нет здесь возможности детально описывать аналогичные процессы в других областях. Как мы уже видели, даже наука теперь заинтересована не в исследовании и установлении объективных законов природы, а в формулировании рабочих гипотез, с помощью которых человек смог бы обуздать силы природы и использовать их для своих целей и преобразования своего окружения. Что еще более важно, так это то, что человек начал, осознанно упражняя свой разум, преобразовывать не только свое окружение, но и самого себя. В конце восемнадцатого века Мальтус в своем эпохальном труде попытался установить объективные законы населения, действия которых, как и рыночных законов Адама Смита, человек не осознает. Сегодня никто не верит в существование таких объективных законов; но контроль над населением стал предметом рациональной и осознанной социальной политики. В свое время мы видели, как усилиями человека удлинилась средняя продолжительность жизни, изменился баланс поколений среди нашего народонаселения. Мы слышали о лекарствах, сознательно используемых для воздействия на поведение человека, и о хирургических операциях, задуманных для изменения характера человека. Изменился и человек, и общество, и изменились они прямо у нас на глазах, в результате осознанных человеческих усилий. Но наиболее значительными из этих изменений были те, что возникли вследствие развития и использования современных методов убеждения и внушения. Работники образования всех уровней сегодня все более и более осознанно озабочены внесением вклада в формирование общества того или иного типа, воспитанием в молодом поколении позиций, взглядов и мнений, соответствующих такому типу об-

щества; образовательная политика является составной частью любой рационально спланированной социальной политики. Применительно к человеку в обществе первичной функцией разума уже является не исследование, а трансформация; и это повышение уровня осознания способности человека улучшить управление своей социальной, экономической и политической жизнью путем применения рациональных процессов мне кажется одним из наиболее значительных аспектов революции двадцатого века.

Эта экспансия разума есть лишь часть процесса, который ранее я называл “индивидуализацией” — разнообразие индивидуальных умений и занятий и возможностей, сопутствующих прогрессу цивилизации. Возможно, наиболее перспективным социальным последствием индустриальной революции являлось увеличение числа тех, кто учится думать, учится использовать свой разум. В Великобритании наша страсть к постепенности такова, что движение иногда почти неощутимо. Мы почтили на лаврах всеобщего элементарного образования большую часть столетия и все еще не продвинулись слишком далеко или быстро ко всеобщему высшему образованию. Это не имело особого значения, когда мы лидировали в мире. Сейчас, когда нас перегоняют другие, спешащие больше нас, и когда темпы жизни везде были подстегнуты технологической революцией, это имеет намного большее значение. Потому что социальная, технологическая и научная революции являются составной частью одного и того же процесса. Если хотите иметь академический пример процесса индивидуализации, обратите внимание на достигнутую за последние пятьдесят — шестьдесят лет огромную степень диверсификации истории или любой иной науки и огромное число появившихся в них новых специализаций. Я могу дать и более поразительный пример этого на другом уровне. Более тридцати лет назад высокопоставленный немецкий офицер во время визита в Советский

Союз слышал рассуждения советского офицера, озабоченного созданием красных воздушных сил:

"Мы, русские, вынуждены иметь дело со все еще примитивным человеческим материалом. Мы вынуждены адаптировать летательные аппараты к типу летчика, которым мы располагаем. Техническое развитие человеческого материала будет совершенствоваться по мере развития нового типа человека. Эти два фактора предопределяют друг друга. Примитивных людей нельзя сажать в сложные машины" [*Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte (Munich), i, (1953), с. 38*].

Сегодня, спустя одно поколение, мы знаем, что русские машины уже не примитивны и что миллионы русских мужчин и женщин, которые проектируют, строят и работают на этих машинах, уже не примитивны. Как историка, меня больше интересует последнее. Рационализация продукции означает нечто намного более важное — рационализацию человека. Сегодня во всем мире примитивные люди учатся пользоваться сложными машинами и, делая это, они учатся мыслить, использовать свой разум. Революция, которую вы справедливо можете назвать социальной и которую я в данном контексте называю экспансией разума, только-только начинается. Но она разворачивается поразительными темпами, потому что вынуждена поспевать за потрясающими технологическими достижениями последнего поколения. Это представляется мне одной из наиболее значительных сторон нашей революции двадцатого века.

Некоторые из наших пессимистов и скептиков конечно призывают меня к порядку, если я здесь не укажу на те опасности и неясности, таящиеся в роли, приписываемой в современном обществе разуму. В одной из своих более ранних лекций я указал, что усиливающаяся индивидуализация в описываемом смысле не подразумевала какого-либо ослабления социального тяготения

к конформизму и униформизму. В этом один из парадоксов нашего сложного современного мира. Образование, этот необходимый и мощный инструмент содействия экспансии индивидуальных способностей и возможностей, а потому и усиления индивидуализации, является также мощным инструментом в руках групп, заинтересованных в усилении социальной униформности. Призывы повысить ответственность радио и телевидения или прессы, которые мы часто слышим, направлены прежде всего против отдельных негативных явлений, которые нетрудно осудить. Но они быстро становятся призывами к использованию этих мощных инструментов убеждения масс для привития желаемых вкусов и мнений, а стандарт желательности определяется, исходя из вкусов и мнений общества. В руках ведущих такие кампании лиц они являются сознательными и рациональными процессами, нацеленными на формирование общества через воздействие на его индивидуальных членов в желательном направлении. Другие яркие примеры этих опасностей предоставляются рекламными агентами и политическими пропагандистами. Эти две роли по сути часто сдваиваются; открыто — в США и более робко — в Великобритании: чтобы продвинуться, партии и кандидаты нанимают профессиональных рекламных агентов. Две процедуры, даже при всем формальном отличии друг от друга, очень схожи. Профессиональные рекламные агенты и руководители отделов пропаганды крупных политических партий — это очень умные люди, которые напрягают все свои умственные способности при выполнении того или иного задания. Как мы уже видели на других примерах, разум используется не просто для исследования, но и конструктивно, не статически, но динамически. Профессиональных рекламных агентов и менеджеров кампаний существующие факты интересуют отнюдь не в первую очередь. Они больше интересуются тем, во что верит потреби-

тель или электорат, или событиями постольку, поскольку они входят в их конечный продукт, т.е. во что потребителя или электорат можно заставить поверить, и что их можно заставить захотеть при умелой обработке. Более того, исследования в области психологии масс показали, что наискорейшим способом внушения своих взглядов является апеллирование к иррациональному элементу в сознании клиента или избирателя с тем, чтобы картина, представленная нам элитой профессиональных промышленников или партийных лидеров, посредством как никогда ранее высокоразвитых рациональных процессов, достигала цели, играя на иррационализме масс. Они апеллируют прежде всего не к разуму, а действуют методом, который Оскар Уайлд назвал “ударом ниже интеллекта”. Я несколько утрирую картину, чтобы избежать обвинений в недооценке опасности [*Более полно об этом см. в работе автора The New Society (1951), гл. 4, passim*]. Но в широком смысле это правильная картина, и ее легко можно перенести на другие сферы. В каждом обществе правящими группами применяются более или менее принудительные меры организации и контроля над мнением масс. Этот метод кажется худшим, чем другие, потому что он заключается в злоупотреблении разумом.

В ответ на серьезные и хорошо обоснованные обвинения я могу выставить только два аргумента. Первый — это знакомый каждому аргумент, суть которого сводится к тому, что каждое изобретение, каждое новшество, каждый прием, открытый в ходе истории, имеют как негативные, так и позитивные стороны. И кто-то всегда должен оплатить расходы. Я не знаю, сколько времени понадобилось после изобретения печатания, чтобы критики начали отмечать, что печатание упростило распространение ошибочных мнений. Сегодня принято сокрушаться по поводу смертности на дорогах из-за использования автомобилей; неко-

торые ученые даже сожалеют о своих собственных открытиях в области атомной энергетики из-за катастрофических последствий, которые повлекло за собой ее применение в прошлом и может повлечь в будущем. Такие возражения не смогли остановить поток новых открытий и изобретений в прошлом и не смогут остановить его в будущем. Не просто стереть из сознания то, что мы узнали о технических и потенциальных возможностях массовой пропаганды. Как нет возврата к мелкой индивидуалистической демократии теории Локка или либералов, частично реализованной в Великобритании в середине девятнадцатого века, так и нет возврата к лошадям и телеге или раннему капитализму *laissez-faire*. Но истина в том, что эти пороки несут с собой и средства избавления от них. И средство это не в культе иррационализма или отрицании возрастающей роли разума в современном обществе, но в растущем осознании как низами, так и верхами той роли, которую может играть разум. И во время повышения роли разума в условиях технологической и научной революции сегодняшнего дня это отнюдь не утопическая мечта. Как и любой другой прорыв в истории, этот прорыв сопровождается расходами и убытками, которые необходимо покрыть, и своими опасностями. И все же, невзирая на скептиков и циников, и прорицателей катастрофы, особенно среди интеллектуалов тех стран, привилегированное положение которых оказалось подорванным, я не постыжусь рассматривать это как симптом исторического прогресса. Это, наверное, самое поразительное и революционное явление нашего времени.

Вторым аспектом прогрессивной революции, которую мы сейчас переживаем, является измененная форма мира. Великое время пятнадцатого и шестнадцатого веков, в течение которого средневековый мир пал в руинах, и были заложены основы современного общества, было отмечено открытием новых континен-

тов и переносом мирового центра притяжения с берегов Средиземного моря к берегам Атлантики. Даже меньший по масштабу переворот, совершенный во время Французской революции, имел определенные географические последствия, призвав Новый свет к восстановлению баланса Старого. Но перемены, вызванные революцией двадцатого века, были самыми критическими со времен века шестнадцатого. Спустя 400 лет мировой центр тяжести совершенно явно переместился из Западной Европы. Последней зависимой территорией, вместе с более отдаленными частями англоговорящего мира, стала территория североамериканского континента, или, если угодно, аггломератом, в котором США стали и домом власти, и башней контроля. И это не самая значительная из произошедших в последнем столетии перемен. Нет никакой уверенности в том, что мировой центр притяжения сейчас находится или в течение долгого времени будет продолжать находиться в англоязычном мире с его западноевропейским придатком. По всей видимости, в мировых делах сегодня музыку заказывает огромный массив Восточной Европы и Азии с прилегающими вкраплениями Африки. Выражение “неизменяемый Восток” сегодня явно устарело.

Давайте взглянем на то, что случилось с Азией в нынешнем столетии. Рассказ начинается с англо-японского альянса 1902 года — первого случая принятия азиатской страны в избранный круг великих европейских держав. Можно считать совпадением, что Япония сигнализировала о своем выдвигании, бросив вызов России и победив ее, и тем самым зажгла первую искру, из которой разгорелась великая революция двадцатого века. Французские революции 1789 и 1848 гг. нашли своих последователей в Европе. Первая Русская революция 1905 года не отозвалась эхом в Европе, но нашла своих последователей в Азии: в последующие несколько лет революции произошли в Персии, Турции и

Китае. Первая мировая война не была мировой, это была европейская гражданская война — если предположить, что такое явление, как Европа, существовало — с мировыми последствиями; к таким последствиям можно отнести стимулирование промышленного развития во многих азиатских странах, неприязнь ко всему иностранному в Китае, национализм в Индии, рождение арабского национализма. Русская революция 1917 года дала еще больший и решающий толчок. Важно было то, что ее лидеры пристально вглядывались в поисках последователей в Европу, но нашли их в Азии. Именно Европа стала “неизменяемой”, именно Азия находится в движении. Мне нет необходимости продолжать эту знакомую историю до времен нынешних. Историк вряд ли сейчас в состоянии оценить весь масштаб и значимость Азиатской и Африканской революций. Но развертывание современного технологического и индустриального прогресса, зарождение образования и политического сознания среди многомиллионного населения Азии и Африки изменяет облик этих континентов; и пока у меня нет возможности взглянуть в будущее, я не знаю никаких критериев оценки, которые позволили бы мне рассматривать это как либо иначе, чем прогрессивное развитие мировой истории. Измененный в результате этих событий мир привел к уменьшению в мировом раскладе относительного веса этой страны и, возможно, всего англоязычного мира. Но относительный спад не есть спад абсолютный; а что беспокоит и тревожит меня больше всего, так это не марш прогресса в Азии и Африке, а тенденция доминирующих групп в этой стране — возможно, и везде — не замечать и не понимать эти события, относиться к ним со смесью недоверчивого презрения и любезной снисходительности и погружаться в паралитическую ностальгию по прошлому.

То, что я назвал экспансией разума в революции двадцатого века, в глазах историка имеет особенные последствия; потому что экспансия разума означает, по сути, появление в истории групп и классов народов и континентов, которые до того находились вне ее пределов. В своей первой лекции я предположил, что тенденция средневековых историков рассматривать средневековое общество через религиозные очки объясняется исключительно характером их источников. Я бы хотел продолжить это объяснение. Не без оснований, но и не без преувеличения утверждалось, что христианская церковь была “единственным рациональным институтом средних веков” [A. von Martin, *The Sociology of the Renaissance (пер. на англ., 1945), с.18*]. Будучи единственным рациональным институтом, она была также единственным историческим институтом; она одна шла рациональным курсом развития, который мог быть понятным историку. Светское общество формировалось и организовывалось церковью и не жило собственной рациональной жизнью. Масса людей принадлежала, как в доисторические времена, скорее природе, чем истории. Современная история начинается с того, что все больше и больше людей приобретают социальное и политическое сознание, осознают свои группы как исторические общности, обладающие прошлым и будущим, и входят в историю как полноправные члены. Лишь максимум за последние 200 лет социальное, политическое и историческое сознание начало распространяться среди большинства населения даже в развитых странах. Только сегодня стало впервые возможно представить весь мир состоящим из народов, которые в полном смысле этого слова вошли в историю и стали изучаться не колониальным администратором или антропологом, а историком.

Это революция в нашей концепции истории. В восемнадцатом веке история все еще была историей элиты. В девятнадцатом

веке британские историки начали, неуверенно и эпизодически, продвигаться к взгляду на историю как историю всех народов. Д.Р.Грин, довольно прозаичный историк, стал знаменитым, написав первую "Историю английского народа". В двадцатом веке каждый историк на словах признает этот взгляд; и хотя их деятельность отстает от их заверений, я не буду останавливаться на этих недостатках, поскольку меня больше волнует наше неумение как историков принять во внимание расширяющиеся горизонты истории, выходящие за пределы этой страны и Западной Европы. Актон в своем отчете 1896 года говорил об универсальной истории как "о том, что отличается от объединенной истории всех стран". Он продолжал:

"Она движется в последовательности, в которой нации играют лишь вспомогательную роль. Их история будет рассказана, но не ради их самих, а в связи с серией более высокого порядка и в подчинении ей, в соответствии со временем и степенью их вклада в общие судьбы человечества" [*Cambridge Modern History: Its Origin, Authorship, and Production (1907), c.14*].

Для Актона было само собой разумеющимся, что всеобщая история, как он воспринимал ее, волновала каждого серьезного историка. Что делаем мы сейчас для того, чтобы развивать всеобщую историю в этом смысле?

В этих лекциях я не намеревался затрагивать вопрос изучения истории в данном университете, но в нем я нахожу столь поразительные примеры, иллюстрирующие то, что я пытаюсь сказать, что с моей стороны будет трусостью не привести их здесь. В последние сорок лет мы отвели истории США достаточно много места в учебном плане. Это важный сдвиг вперед. Но это было чревато риском усиления местничества в английской истории, которое уже схватило наш учебный план мертвой хваткой, но местничество в масштабе англоговорящего мира еще более ко-

варно и опасно. История англоязычного мира за последние 400 лет вне всякого сомнения была великим историческим периодом. Но было бы неудачным искажением рассматривать ее как центральную ось всеобщей истории, к которой привязана вся остальная история человечества. Долг университета устранить такие популярные искажения. Школа современной истории в данном университете, как мне кажется, плохо справляется с этим. Конечно, неправильно то, что кандидату разрешается сдавать экзамены на почетную степень в одном из главных университетов страны без знания какого-либо иностранного языка; пусть то, что случилось в Оксфорде в области древней и уважаемой дисциплины философии, когда занимающиеся ею люди пришли к выводу, что они могут прекрасно обходиться простым разговорным английским языком, послужит нам предупреждением. Бесспорно неправильно не предлагать студентам никаких возможностей изучать современную историю любой континентальной европейской страны в объеме большем, чем учебник. У кандидата, имеющего какие-то знания об Азии, Африке или Латинской Америке, весьма ограниченные возможности показать эти знания в публикации, названной с замечательной вальяжностью девятнадцатого века “Экспансия Европы”. К сожалению, содержание публикации полностью отвечает ее заголовку: от кандидатов не требуется хоть какое-то знание даже таких стран с важной и хорошо продокументированной историей, как Китай или Персия, за исключением того, что случилось, когда европейцы попытались захватить их. Мне сказали, что здесь читаются лекции по истории России, Персии и Китая, но не преподавателями кафедры истории. Мнение, высказанное профессором-китаеведом в его инаугурационной лекции пять лет назад, что “Китай нельзя рассматривать как страну, находящуюся на задворках истории человечества” [*E.G.Pulleyblank, Chinese History and*

World History (1955), с. 36], не было услышано кембриджскими историками. То, что в будущем может оказаться величайшим историческим трудом, вышедшим в Кембридже за последнее десятилетие, было написано без какого бы то ни было участия здешнего отделения истории: я говорю о книге д-ра Нидхема “Science and Civilization in China”. Это отрезвляющий факт. Я бы не стал выносить сор из избы, если бы не считал это явление типичным для большинства британских университетов и британских интеллектуалов середины двадцатого века. Старая добрая шутка о викторианском изоляционизме: “Шторм в Канале — континент изолирован”, — сегодня звучит неприятно актуально. Опять шторма бушуют во внешнем мире; и пока мы, англоязычные страны, продолжаем кучковаться вместе и говорить друг другу простым английским языком, что другие страны и континенты изолировались из-за своего странного поведения от благ и преимуществ нашей цивилизации, может оказаться, что мы, своей неспособностью или нежеланием понимать других, самоизолировались от того, что сейчас происходит в мире.

В начале своей первой лекции я привлек внимание к резкой разнице в мировоззрении, отделяющей середину двадцатого века от конца девятнадцатого. В заключение мне хотелось бы продолжить это сравнение; и если в этом контексте я использую слова “либеральный” и “консервативный”, читатель охотно поймет, что я не использую их как ярлыки для обозначения британских политических партий. Когда Актон говорил о прогрессе, он не использовал популярного британского понятия “постепенность”. “Революция, или, как мы говорим, либерализм” — это запоминающаяся фраза из письма 1887 года. “Методом современного прогресса, — сказал он в лекции о современной истории десять лет спустя, — является революция”; а в другой лекции он говорил о “пришествии общих идей, которые мы называем

революционными”. Это разъясняется в одной из его неопубликованных рукописей: “Виги управляли с помощью компромисса: либерал начинает царство идей” [*Эти отрывки см. в: Acton, Selections from Correspondence (1917), с. 278; Lectures on Modern History (1906), сс. 4, 32; Add MSS. 4949 (Cambridge University Library). В своем письме от 1887 года, которое цитировалось выше, Актон отмечает переход от “новых” вигов к “старым” (т.е. либералам) как “открытие сознания”: сознание здесь явно ассоциируется с развитием осознанности (см. с. 135) и соответствует “царству идей”. Стабз также разделил современную историю на два периода, до и после Французской революции: “первая — история властей, сил и династий; вторая — история, в которой идеи заменяют и права, и формы” (W. Stubbs, Seventeen Lectures on the Study of Mediaeval and Modern History, изд. 3-е, 1900, с. 239)]. Актон верил, что “царство идей” означало “либерализм” и что либерализм означал революцию. Во времена Актона либерализм еще не исчерпал себя как движущая сила социальных перемен. Сегодня было бы бессмысленно проповедовать возврат к Актону. Но историк должен прежде всего определить позицию Актона и, во-вторых, сопоставить его позицию с позицией современных мыслителей, а в-третьих, изучить, какие элементы его позиции все еще сохраняются в силе сегодня. Поколение Актона, без сомнения, страдало от высокомерного самодовольства и оптимизма и недостаточно хорошо осознавало сомнительность структуры, на которой покоилась его вера. Но оно обладало двумя вещами, которых нам остро недостает сегодня: чувством перемен как прогрессивным фактором истории и верой в разум как нашим руководством в понимании ее сложностей.*

Давайте послушаем голоса из 50-х. В одной из лекций я уже цитировал удовлетворенность сэра Льюиса Намьера тем, что “в

поисках решений конкретных вопросов обе стороны забыли о программах и идеалах”, и его описание этого явления как симптома “национальной зрелости” [см. *сноску на с. 39*]. Я не увлекаюсь аналогиями между продолжительностью жизни индивидуумов и наций; и если такая аналогия все же приводится, напрашивается вопрос: что будет после того, как мы пройдем стадию “зрелости”. Но более всего меня интересует резкий контраст между похвальным практическим и конкретным, с одной стороны, и осуждаемыми “программами и идеалами” — с другой. Это превознесение практических действий в ущерб идеалистическому теоретизированию, конечно же, является отличительной чертой консерватизма. По мысли Намьера, оно характерно для восемнадцатого века, для Англии времен вступления на престол Георга III, протестующего против угрожающего натиска революции и царства идей, о которых говорит Актон. Но то же самое знакомое выражение закоренелого консерватизма в форме закоренелого эмпиризма чрезвычайно популярно и в наши дни. В наиболее распространенной форме его можно обнаружить в замечании профессора Тревора-Рупера, что “когда радикалы визжат о своей несомненной победе, благоразумные консерваторы дают им по носу” [*Encounter, vii, № 6, июнь 1957, с.17*]. Профессор Окшотт предлагает нам более изощренную версию этого модного эмпиризма: в наших политических заботах, говорит он нам, мы “плаваем в безграничном и бездонном море”, где нет “ни пункта отправления, ни пункта прибытия”, и где нашей единственной целью является “держаться на плаву с ровным килем” [*M.Oakeshott, Political Education (1951), с.22*]. Мне нет необходимости продолжать список писателей современности, которые осудили политический “утопизм” и “мессианство”; эти слова стали обычным ругательным названием далеко идущих радикальных идей о будущем общества. Не буду я также пытаться обсуж-

дать нынешние тенденции в США, где историки и политологи более раскованно, чем в этой стране, декларировали свою приверженность консерватизму. Я процитирую лишь замечание одного из наиболее выдающихся и умеренных консервативных историков Америки, профессора Самуэля Морисона из Гарварда, который в своем президентском обращении к Американской Исторической Ассоциации в декабре 1950 сказал, что пришло время дать отпор тому, что он назвал “линией Джефферсона — Джексона — Ф.Д.Рузвельта”, и призывал к описанию истории США со здоровой консервативной точки зрения” [*American Historical Review*, № lvi, № 2 (январь 1951), с.272–273].

Именно профессор Поппер, по крайней мере в Великобритании, еще раз выразил этот осторожный консервативный взгляд в самой ясной и самой бескомпромиссной форме. Вторя Намьеру в его отрицании “программ и идеалов”, он нападает на политику, которая якобы нацелена на переструктурирование “всего общества” в соответствии с “определенным планом”, и поощряет то, что он называет “постепенной социальной инженерией”, явно не стесняясь обвинений в “постепенном латании” и “доведении дела до конца с грехом пополам” [*K. Popper, The Poverty of Historicism (1957), с.67, 74*]. По одному пункту я действительно обязан отдать должное профессору Попперу. Он остается стойким защитником разума и избегает экскурсов в иррациональное как в прошлом, так и в настоящем. Но если мы взглянем в его рецепт “постепенной социальной инженерии”, мы увидим, насколько ограниченная роль отведена им разуму. Хотя описание “постепенной инженерии” не отличается точностью, нам особо оговаривают, что критика “целей” исключена; и те осторожные примеры, которыми он иллюстрирует ее законную деятельность — “конституционные реформы” и “тенденцию к большему уравниванию доходов” — ясно показывают, что она задумана для

функционирования в рамках убеждений, существующих в нашем обществе. Статус разума в схеме профессора Поппера фактически подобен статусу британского гражданского служащего, уполномоченного заниматься администрированием политики стоящего у власти правительства и даже предлагать практические усовершенствования, но не ставить под сомнение их фундаментальные основы или конечные цели. Это полезная работа: я тоже когда-то был гражданским служащим. Но такое подчинение разума убеждениям существующего порядка кажется мне в конечном счете полностью неприемлемым. Это не то, что думал о разуме Актон, когда он предлагал на обсуждение свое уравнение *революция = либерализм = царство идей*. Прогресс в делах человеческих, будь то наука, или история, или общество, был достигнут прежде всего благодаря смелой готовности людей не ограничиваться постепенными улучшениями в существующем порядке вещей, но бросать смелые вызовы во имя разума этому порядку и провозглашенным или скрытым предпосылкам, на которых он базируется. Я с нетерпением жду времени, когда историки, социологи, политические мыслители англоязычного мира обретут смелость для выполнения этой задачи.

Однако, меня больше всего беспокоит не ослабевание веры в разум среди интеллектуалов и политических мыслителей англоязычного мира, но потеря ими всеобъемлющего чувства мира, находящегося в постоянном движении. Это на первый взгляд парадоксально; потому что редко можно было слышать столько пустой болтовни о происходящих вокруг нас изменениях. Суть в том, что изменение уже больше не рассматривается как достижение, возможность, прогресс, но как объект страха. Когда наши ученые политологи и экономисты дают предписания, им нечего предложить нам, кроме предупреждения не доверяться радикальным и далеко идущим идеям, остерегаться всего, от чего попахив-

вает революцией, и идти вперед — если мы должны туда идти — как можно более медленно и осторожно. В то время, когда мир меняется быстрее и радикальнее, чем когда-либо за последние 400 лет, это кажется мне слепотой, которая дает основания бояться не того, что остановится мировое движение, но что эта страна — возможно, весь англоязычный мир — может отстать от других и плестись в хвосте прогресса и беспомощно и без жалоб погрязнуть в ностальгическом болоте. Что касается меня, я остаюсь оптимистом; и когда сэр Льюис Намьер предупреждает меня тщательно сторониться программ и идеалов, а профессор Окшотт говорит, что мы никуда конкретно не идем, и самое главное — следить за тем, чтобы никто не раскачивал лодку, а профессор Поппер хочет сохранить свою любимую старую модель на дороге посредством маленькой постепенной инженерии, а профессор Тревор-Рупер дает по носу пищащим радикалам, а профессор Моррисон жаждет истории, написанной в здраво консервативном духе, я выгляну в мир во времена бури и во времена родовых мук и отвечу стертыми от употребления словами великого ученого: “И все же — она вертится”.

**ИЗ АРХИВОВ Э.Г.КАРРА:
ЗАМЕТКИ КО ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ КНИГИ
“Что такое история?”**

Р. У. Дэвис

За несколько лет до своей смерти в ноябре 1982 года Э.Г.Карр готовил совершенно новое издание книги "Что такое история?". Не обескураженный спадом прогресса в истории человечества, характеризовавшим те двадцать лет, что прошли после выхода в свет первого издания книги в 1961 году, Карр объявил в своем предисловии, что целью нового издания было "выдвинуть если не более оптимистический, то более разумный и сбалансированный взгляд на будущее".

Написано было лишь предисловие. Но среди бумаг Карра, в большом ящике, вместе с конвертом, набитым обзорами и перепиской, относящейся к изданию 1961 года, были обнаружены полдюжины коричневых папок формата 13х16 дд., с заголовками: История – общее; Причинность – детерминизм – прогресс; Литература и искусство; Теория революции и жестокость; Русская революция; Марксизм и история; Будущее марксизма. Он явно намеревался проделать большую работу прежде, чем завершить второе издание. В папках содержатся заголовки многих книг и статей, которые он еще не обработал. Но в них также содержится и частично обработанный материал: помеченные отписки и статьи, вырванные из журналов, и многочисленные записи от руки на листках бумаги различного формата. В папках также хранилась переписка с Исааком Дейчером, Исией Берлином, Квентином Скиннером и другими о философии и методологии истории, явно с намерением использовать ее при подготовке нового издания. Беспорядочные, напечатанные или написанные от руки заметки очевидно являются первыми набросками предложений или параграфов. Мы не располагаем планом к новому изданию, но в одной из записок написано:

*История в смятении
Статистика атакует
Психология*

Структурализм
Замешательство в литературе
Лингвистика
Утопия и пр.
[дальше на листке:
Последняя глава
Утопия
Смысл истории]

Очевидно, Карр хотел написать новые разделы или главы на темы, нераскрытые или недостаточно хорошо раскрытые в первом издании, а также расширить уже имеющиеся главы книги за счет ответов на критику и дополнительного материала, иллюстрирующего, а иногда пересматривающего его аргументы. Иногда из его записей и набросков вырисовывается совершенно новая книга о проблемах сегодняшнего дня и о мире, к которому мы должны стремиться. Конечно, он намеревался снабдить книгу завершающей главой или главами, возможно, полностью пересмотренным вариантом главы VI "Расширяющиеся горизонты", в которой был бы представлен его собственный взгляд на смысл истории и его видение будущего, связанное, как никакое иное из его предыдущих произведений, с проблемами современной политики.

Карр явно не видел смысла пересматривать содержание своих первых двух лекций об историке и его фактах и об историке и обществе. В качестве примера ложности эмпиристического подхода к историческим фактам он цитирует Роскила, знаменитого морского историка, который хвалил "современную школу истории", ограничивающую свою "функцию лишь сбором и записью фактов своего периода с тщательной аккуратностью и объективностью". Карру такие историки, если они в самом деле вели себя так, как заявляли, напомнили бы героя короткого рассказа аргентинского новеллиста Борхеса (переведенного, как "Фюнес Памятливый"), который никогда не забывал ничего, что он видел или слышал, или испытал, но признал, что как следствие этого "моя память похожа на мусорную свалку". Фюнес был "не очень склонен думать", потому что "думать означает забывать различия, обобщать, абстрагироваться" [1]. Карр определил и отбросил эмпиризм в истории

и социальных науках, поскольку “вера в то, что все проблемы можно разрешить путем применения какого-то научного неценностного метода, т.е. в то, что есть объективное правильное решение и способ его достижения – общепринятые научные убеждения, перенесенные на социальные науки”. Карр отмечал, что Ранке, талисман историков-эмпириков, рассматривался Лукаксом как антиисторическая личность в том смысле, что он представлял скорее коллекцию событий, обществ и институтов, а не процесс продвижения вперед от одного к другому; “история, – писал Лукакс, – становится коллекцией экзотических анекдотов” [2].

Заметки Карра предоставляют весомую поддержку этой атаке на эмпиризм. Гиббон верил, что наилучший рассказ может быть написан “историком – философом”, который умеет выделять такие факты, доминирующие в системе отношений [3]: он отдал дань Тациту как “первому историку, который применил науку философию к изучению фактов” [4]. Вико различал *il certo* (то, что фактически правильно) от *il vero*; *il certo*, объект *conscienza*, был частным или индивидуальным, *il vero* – общим или обобщенным [5]. Карр относил “скудость и отсутствие глубины в таком большом количестве недавно написанных политических и исторических трудов” на счет различий в историческом методе, который “столь фатально отделил Маркса от мыслителей англоязычного мира”:

“Традиции англоязычного мира глубоко эмпиричны. Факты говорят сами за себя. Тот или иной конкретный вопрос дебатруется “по заслугам”. Темы, эпизоды, периоды изолируются в целях исторического исследования в свете некоторых необъявленных, и возможно бессознательных, стандартов уместности... Все это Марксом было бы предано анафеме. Маркс не был эмпириком. Маркс счел бы бесплодным занятием изучение части безотносительно к целому, факта — безотносительно к его значимости, события — безотносительно к причине или следствию, конкретного кризиса — безотносительно к общей ситуации”.

“Это различие имеет исторические корни. Не случайно англоязычный мир упрямо оставался эмпиристичным. При прочно установленном общественном порядке, чьи достоинства никем не оспарива-

ются, эмпиризм служит средством латания дыр... Для такого мира Британия девятнадцатого века служила отличной моделью. Но во времена, бросающие вызов самим основаниям существующего порядка, когда мы пытаемся выбраться из одного кризиса, чтобы тут же попасть в другой, не имея никаких путеводителей, эмпиризма явно недостаточно" [6].

В любом случае, завеса так называемого эмпиризма служила прикрытием для неосознанных принципов отбора. "История, — писал Карр, — является конкретным понятием того, что составляет человеческий рационализм: каждый историк, осознает он это или не осознает, имеет такую концепцию". В книге "Что такое история?" Карр отвел много места влиянию исторического и социального окружения на отбор и интерпретацию фактов историком, тот аспект человеческого состояния, который волновал его со студенческих лет. Его заметки ко второму изданию иллюстрируют относительность человеческого знания. Геродот находил моральное оправдание доминированию Афин той ролью, которую они сыграли в Персидских войнах; а войны, демонстрирующие потребность думающих греков в расширении их кругозора, убедили Геродота расширить круг исследуемых народов и местностей [7]. Арабское видение истории характеризовалось сочувствием кочевому образу жизни. Арабы смотрели на историю как на длительный или циклический процесс, в ходе которого жители городов или оазисов побеждались кочевниками пустынь, которые оседали и в свою очередь побеждались кочевниками; в глазах арабских историков оседлая жизнь порождала роскошь, ослабляющую цивилизованных людей по сравнению с варварами. В противовес этому Гиббон видел историю Англии восемнадцатого века не как циклический, а как триумфальный прогресс: это чувствуется в его знаменитой фразе "Каждый век приумножал и все еще приумножает подлинное богатство, счастье, знание и, вероятно, добродетель человеческой расы". И Гиббон видел историю с выигрышной точки зрения самоуверенного правящего класса в прочно и давно установившейся цивилизации. Он считал, что Европа была защищена от варваров, поскольку "для того, чтобы победить, они должны перестать быть варварами". Карр замечает, что революционные эпохи оказывают ре-

волюционное воздействие на изучение истории: "Нет средства более эффективного, чтобы привлечь внимание к истории, чем революция". Английские историки восемнадцатого века выросли из триумфа "славной революции" 1688 года. Французская революция подорвала "исторический взгляд французского Просвещения, который покоился на концепции неизменяемой природы человека". В такие времена быстрых перемен широкое признание получает мнение об относительности исторического знания. Макалей лишь утверждал очевидное его современникам, когда объявлял, что "человек, придерживающийся того же самого мнения о революциях 1789, 1794, 1804, 1814 и 1834, был бы либо богом вдохновенным пророком, либо упрямым дураком" [8].

Как можно говорить о существовании объективной истории при такой относительности исторического знания? В книге "Что такое история?" Карр спорил, что при всем том, что ни один историк не мог претендовать на то, что его ценности объективны вне всякой истории, объективным историком является тот, который "обладает способностью подняться над ограниченным видением своей ситуации в обществе и истории" и "способностью проецировать свое видение в будущее таким образом, который бы позволил ему получше и поглубже увидеть прошлое". Несколько критиков книги "Что такое история?" сильно возражали против такого подхода к "объективности" и защищали традиционную точку зрения, что объективный историк – это тот, который формирует свои суждения на основе данных, несмотря на свои собственные предубеждения. Карр не считал это серьезной критикой. В своей Истории Советской России он часто демонстрирует экстраординарную степень "объективности" в традиционном смысле, представляя доказательства, которые другие историки часто использовали в доказательство своих интерпретаций, противоречащих взглядам Карра. Но он считал такую добросовестность обязанностью компетентного историка; это не означало, что подход историка к доказательному материалу был свободен от влияния его социального и культурного окружения.

Тем не менее, Карр был готов признать, с некоторой осторожностью, что прогресс имеет место не только в развитии общества, но

и в изучении истории, и что прогресс исторического знания ассоциируется с возрастанием его объективности. В работе "Что такое история?" он признавал огромные достижения истории за последние два столетия и расширение нашего горизонта от истории элитных наций к истории народов всего мира. Приводя в качестве примера оценку достижений Бисмарка последовательными поколениями историков, он спорил (или признавал), что "историк 20-х гг. был ближе к объективной оценке, чем историк 80-х прошлого века, а историк сегодняшнего дня — еще ближе, чем историк 20-х гг.". Но тогда же он сделал оговорку к этому явному признанию элемента абсолютности в стандарте объективности историка, настаивая на том, что "объективность в истории не покоится и не может покоиться на некоем заданном фиксированном и неподвижном стандарте оценки, она покоится на стандарте, который заложен в будущем и раскрывается нам по мере развертывания хода истории". Проблема объективности в истории явно продолжала беспокоить его после того, как он закончил работу над книгой "Что такое история?" В своих заметках, отрицая "абсолютную и вневременную объективность" как "нереальную абстракцию", он пишет: "История требует отбора и упорядочения фактов прошлого в свете принятого историком принципа или нормы объективности, которая обязательно включает элементы интерпретации. Без этого прошлое растворяется в беспорядочной смеси бесчисленных изолированных и незначительных инцидентов, и история совсем не может быть написанной".

В книге "Что такое история?" Карр также рассматривал вопрос исторической объективности с другой точки зрения (хотя и не используя слово "объективность" в том контексте). Он проанализировал сходства и различия методов истории и естественных наук. Сходств оказалось намного больше, чем различий. Ученые, занимающиеся естественными науками, уже не считают, что они устанавливают всеобщие законы путем индуцирования наблюдаемых фактов, но видят себя делающими открытия через взаимодействие гипотез и фактов. А история, как и естественные науки, озабочена, вразрез бытующему мнению, не изучением уникальных событий, но взаимодействием уникального и общего. Историк обязан обобщать, и на самом деле "он интере-

суется не уникальным, а тем общим, что обнаруживается в уникальном”.

Для нового издания своей книги Карр собрал обширные заметки по методологии науки. В этих набросках прослеживается ход его мыслей, и я представляю здесь подборку таких набросков, не пытаясь изложить свою собственную версию ненаписанного Карром (я пронумеровал каждую отдельную заметку):

(1) Формальный или логический критерий научной истины; Поппер верил, что “истинная” наука отличается надвременным рациональным принципом...

Т.Кун отвергал единый научный метод в пользу последовательности релятивистских методов...

Переход от статического к динамическому взгляду на науку, от формы к функции (или цели).

Релятивизм (не единый “научный метод”) ведет Фейерабенда, Против метода (1975) к полному отрицанию рационализма [9].

(2) Плато, Мено, поднял вопрос о том, как можно проводить исследование, не задаваясь вопросом, что же мы ищем (para. 80 d).

“Мы впервые обретаем способность видеть мысль более четко и архитектурно построить целое лишь после того, как мы в течение длительного времени собирали наши наблюдения как строительный материал, следуя идее, захватившей наше сознание, и лишь после того как уделим значительное время технической обработке данного материала”.

Кант, Критика чистого разума (1781), с. 835

Тезис Поппера о том, что гипотеза, не сумевшая выдать доказуемые выводы, не имеет значимости и не может поддерживаться. (Естественный отбор)

[См.] М. Поляный, Encounter, январь 1972

из которого также взято следующее...

Эйнштейн в 1925 году заметил Гейзенбергу, что “Можете ли вы наблюдать вещь или нет, зависит от теории, которую вы используете. Именно теория предопределяет, что можно наблюдать”

(3) [Отмечено Карром в Лекции У.Ф.Вайскопфа]

“Мы воспринимаем формирование таких [горных] цепей, как тек-

тоническую активность земной коры, но мы не можем объяснить, почему гора Бланк имеет сегодня такую специфическую форму, точно так же мы не в состоянии предсказать, какая сторона горы Святой Елены обрушится при следующем извержении...

То, что происходят непредсказуемые события, не означает, что нарушаются законы природы”.

(4) Д. Штрук, *Краткая история математики* (1963) показывает социальные корни математики.

(5) Теория о том, что Вселенная началась с хаоса, с большим шумом, и ей суждено раствориться в черных дырах – это отражение культурного пессимизма эпохи. Хаотичность есть показатель невежества.

(6) Вера в доминирующее значение наследственности была прогрессивной постольку, поскольку люди считали приобретенные черты унаследованными.

Когда эта точка зрения была отвергнута, вера в наследственность стала понятием реакционным.

См. аргумент в С.Е.Розенберг, *Никаких других богов: О науке и американской социальной мысли* (1976) [особенно с. 10].

Из этих набросков видно, что Карр пришел к выводу о том, что относительность человеческого знания была большей, чем он предполагал. Время и место оказывают большое влияние на теорию и практику ученого-естественника. Взаимосвязь гипотезы и конкретного материала в естественных науках сильно напоминает взаимосвязь между обобщением и фактом в истории. Состоятельные научные гипотезы не всегда способны давать точные предсказания, что им часто приписывается; в некоторых естественных науках они очень близки обобщениям историка.

В лекции “Причинность в истории” книги “Что такое история?” Карр более детально проанализировал природу исторического обобщения. Перед историком стоит множество причин того или иного исторического события, он стремится установить “какую-то иерархию причин, которая бы определила их взаимоотношение друг с другом”. В своих заметках к новому изданию Карр воспроизводит абзацы из *Монтескье* и *Токвиля*, которые придерживались аналогичного взгляда. Причины, писал *Монтескье*, “становятся менее произвольными по мере того,

как они производят все более общий эффект. Таким образом мы знаем лучше, что придает тот или иной характер той или иной нации, чем то, что формирует менталитет отдельного индивида... что формирует дух общества, которым пронизан образ его жизни, чем то, что формирует характер отдельного лица" [10]. Карр комментирует различие Токвилем "древних и общих причин" и "современных и частных причин" [11] таким образом: "Это здоровая точка зрения; общее равно долгосрочному; историка интересует главным образом долгосрочное".

Для практикующего историка попытка объяснить исторические события в терминах долгосрочных, общих или значительных причин немедленно создает проблему роли случая в истории. В книге "Что такое история?" Карр признает, что случаи могут видоизменить ход истории, но отстаивал, что они не должны входить в выстраиваемую историком иерархию значительных причин. Случайность преждевременной смерти Ленина сыграла свою роль в истории Советского Союза в 20-х гг., но не была "реальной" причиной случившегося в том смысле, что это не было рациональным и значительным объяснением, применимым к другим историческим ситуациям. Развивая эту мысль дальше, после опубликования книги "Что такое история?", он написал в своих набросках, что "история фактически достаточно регулярна, чтобы быть серьезным объектом изучения, хотя ее регулярность иногда нарушалась посторонними событиями".

Проблема случая оказалась особенно каверзной в отношении его особой разновидности – роли индивидуума в истории. Карр возвращался к этому вопросу снова и снова, что объясняется его особым интересом к развитию Советского Союза во времена Сталина. Его папка "Личность в истории" ставит эту проблему в широком историческом контексте. Он предполагает, что культ личности – "элитистская доктрина", потому что "индивидуализм может означать лишь противопоставление индивида безликой массе". Крайняя настойчивость в отстаивании абсолютных прав свободного индивида нашла широкую поддержку среди интеллектуалов. Алдос Хаксли, наиболее яростный защитник этого взгляда в Британии 20-х и 30-х гг., заявлял в своей метко названной работе "Поступай, как угодно", что "целью жизни является

то... что мы вкладываем в это понятие. Ее смыслом является то, что мы предпочитаем называть ее смыслом... Каждый человек имеет неотъемлемое право на главную область своей философии жизни" [12]. В 30-х гг. во влиятельной работе Сартра "Бытие и ничто" проводилось различие между "бытием для себя" – чистым сознанием индивида, абсолютной свободой и ответственностью и "бытием в себе" – материальным, объективным, неосознающим миром. На этой стадии он был антимарксистом, с "чертами анархизма" (всегда присущими Сартру). И в 1960 году, хотя "Критика диалектического разума" привела к признанию марксизма как "конечной философии нашего времени", на деле Карр считал, что "его разновидность экзистенциализма, полная свобода, индивидуализм и субъективность были несовместимы с марксизмом". Аналогичным образом Адорно, находясь под влиянием марксизма, "хотел спасти личность от полного подчинения в мире технократии и бюрократии, а также в мире закрытых систем философии (идеализм Гегеля, материализм Маркса)". А для Фрейда свобода личности не была продуктом цивилизации; наоборот, вследствие цивилизации индивидуум стал более ограничен в действиях [13].

Утверждение, что индивидуум был скован обществом и должен освободиться от этих цепей, отчасти сродни, отчасти противоречит столь же долговременному убеждению, что некоторые индивиды способны действовать свободно от общества, что часто проявляется в форме подчеркивания особой значимости великих людей в истории. Эндрю Марвел патетически добивался отведения такой роли Кромвелю:

*"Именно он сокращает растянутое время
И за один год свершает то, на что требуются века".*

В противовес ему Сэмюэл Джонсон объявлял:

*"Какую малую часть того, что выносит сердце,
Могут причинить или вылечить короли или закон".*

Но, как пишет Карр, "действия Джонсона были простым арьергардным действием против веры в то, что короли и закон причиняют или исправляют зло".

Споря с теми, кто претендует на решающую роль воли индивида, независимой или автономной от общества, Маркс возражал, что взгляд,

“берущий за отправную точку изолированного человека”, “абсурден” [abgeschmackt]. Человек изначально появляется как родовое создание, стадное животное, “которое индивидуализируется через процессы истории”, “является главным агентом такой индивидуализации” [14]. Макалей, говоря о Мильтоне, заметил, что чем больше знают и чем больше думают люди, тем меньше они интересуются отдельными личностями и тем больше — классами” [15]. А Токвиль в 1952 году выдал классическую фразу о том, что действия отдельных политиков определяются внешними по отношению к ним силами:

“Среди всех цивилизованных народов политические науки создают или по крайней мере формируют общие идеи; и из этих общих идей формируются проблемы, в окружении которых политики ведут свою борьбу, и законы, которые, как они воображают, они создают. Политические науки формируют своего рода интеллектуальную атмосферу, вдыхаемую и управляющими, и управляемыми в обществе; и те, и другие неумно выводят из нее принципы своих действий”.

Толстой постоянно преувеличивал мнение о том, что личности играют в истории незначительную роль: в одном из черновиков эпилога к “Войне и миру” он прямо заявлял, что “исторические персонажи являются продуктом своего времени, появляющимися из связи между современными и предшествующими событиями” [16]. Его точка зрения была полностью сформирована к 1867:

“Земство, суды, война или отсутствие войны и пр. являются проявлениями социального организма — роящегося организма (как у пчел): каждый может продемонстрировать это, и фактически лучшими являются те, которые сами не знают, что они делают и почему — и результат их общего труда всегда оказывается унифицированной деятельностью, не чуждой законам зоологии. Зоологическая деятельность солдата, императора, маршала, благородного господина или пахаря есть низшая форма деятельности, деятельность, в которой — материалисты правы — нет произвольности” [17].

А тридцать лет спустя, в начале Бурской войны, он писал, что нехорошо сердиться на “Чемберленов и Вильгельмов”; “вся история — лишь серия как раз таких действий всех политиков”, которые совершаются в результате усилий поддержать исключительное богатство

немногих, обладающих новыми рынками, “в то время как массы людей раздавлены тяжелым трудом” [18].

Карр в общих чертах разделял подход Маркса и Токвиля. Он отмечал, что “личности в истории имеют “роли”; в некоторых смыслах роль более важна, чем личность”. Он сказал о Рамсее Макдональде, что нетвердость его позиции была следствием не столько его личного характера (имеющего значение лишь постольку, поскольку он выдвинул его в лидеры), сколько базовой дилеммы целой группы, представленной лейбористской партией”. В более общем смысле он заявлял о своей озабоченности не оценкой отдельных политиков, а “анализом групповых интересов и позиций, которые формируют их мышление”. Он писал: “То, как работает мозг индивидуума, для историка неважно”, и лучше “смотреть на историю не столько в терминах осознанного поведения личности, сколько в терминах подсознательных групповых ситуаций и позиций”. В этом духе он кисло заметил, что книга о Гитлере “начинается с приписывания всего личности Гитлера и заканчивается разговорами о нестабильности и неспособности Веймарского режима” [19].

Но Карр не разделял крайностей позиции Толстого: творческие муки работающего историка постоянно тянули его назад к “носу Клеопатры”. Заметив, что проблема случая в истории “все еще интересует и поражает меня”, он опять настаивает в своих набросках, как и в книге “Что такое история?”, что хотя смерть Ленина случилась по причине внеисторического характера, она повлияла на ход истории. Далее он добавляет, что “даже если считать, что в конечном счете все обернулось бы таким же образом, то, что происходит в данный момент, тоже важно для очень большого числа людей”. Здесь мы наблюдаем заметный сдвиг акцента по сравнению с тем, что утверждалось в работе “Что такое история?”. Это было прелюдией к его поразительным комментариям о роли Ленина и Сталина в его интервью с Перри Андерсеном по случаю завершения его Истории. Он настаивал, что “перед Лениным, переживи он двадцатые и тридцатые годы в полном здравии, встали бы те же самые проблемы”, и он бы встал на путь крупномасштабного механизированного сельского хозяйства, быстрой индустриализации, контроля рынка, контроля над трудом и управления им. Он был бы в состоянии “минимизировать и смягчить элемент принуждения”:

При Ленине переход мог бы быть не совсем гладким, но он был бы далеко не таким, каким оказался на деле. Ленин не потерпел бы фальсификации записей, которой постоянно занимался Сталин... При Ленине СССР бы никогда не стал, как выразился Силига, "страной большой лжи". Таково мое мнение[20].

Здесь Карр приписывает случаю важную роль в решающий период Советской истории. Это было скорее устное заявление, чем взвешенное мнение. Но более умеренным языком своей Истории он написал, что "личность Сталина, помноженная на примитивные и жестокие традиции русской бюрократии, придала революции сверху особую жестокость"[21]. "Революция сверху" была в общих чертах вызвана долговременными причинами, которые должны составлять предмет первоочередного значения в глазах историка, но мера имевшего место принуждения была в истории случайностью.

В различных записках и письмах, хранящихся в папках Карра, он оценивает нынешнее состояние исторических исследований. Он указывает на влияние марксизма как на основную тенденцию последних шестидесяти лет:

"Со времени первой мировой войны воздействие материалистической концепции истории на исторические труды было очень сильным. В самом деле, можно сказать, что все серьезные исторические труды, созданные в это время, были написаны под его влиянием. Симптомом этого изменения являлась замена, в общей оценке, битв, дипломатических маневров, конституционных споров и политических интриг, как основных тем истории — "политической истории" в широком смысле — изучением экономических факторов, социальных условий, статистики народонаселения, подъема и падения классов. Возрастающая популярность социологии стала другой чертой того же самого направления развития; иногда предпринимались попытки рассматривать историю как отрасль социологии".

В книге "Что такое история?" Карр уже отмечал позитивное влияние социологии на историю, отмечая, что "чем более социологичной становится история и чем более историчной — социология, тем лучше для обеих". В своих набросках к новому изданию он выражается более сильно: "Социальная история — это базис. Недостаточно изучения одного

лишь базиса; оно становится скучным; возможно, это как раз и произошло с Анналами. Но без него обойтись нельзя”.

Признавая эти положительные сдвиги, Карр настаивает, что в терминах общих или превалирующих тенденций и история, и социология переживают кризис. Карр отмечает поверхностный эмпиризм “убегания от истории в специализацию по секторам” (которое он клеймит как “самокалечение”) и тенденцию историков прикрываться методологией (он говорит о “культе “количественной” истории, которая делает статистические данные источником всех исторических изысков, и, возможно, доводит материалистическую концепцию истории до абсурда”). А этот внутренний кризис истории сопровождался побегом от истории к социальным наукам, который Карр также оценивает как консервативное или реакционное направление:

“История слишком занята фундаментальными процессами изменений. Если у вас аллергия на эти процессы, вы бросаете историю и находите укрытие в социальных науках. Сегодня антропология, социология и пр. процветают. История больна. Но тогда больно и наше общество”.

Он также отмечает, что, “конечно”, такие побеги происходят и в самих социальных науках – экономисты сбегают в эконометрику, философы – в логику и лингвистику, литературные критики – в анализ стилистических приемов”. Ярким примером социолога, который “ушел в абстракцию так далеко, что потерял связь с историей”, является Талькотт Парсонс.

Карр уделил много внимания структурализму (или структурному функционализму). Однажды в беседе он заметил, что структуралисты были хороши хотя бы тем, что, рассматривая прошлое как целое, они избегали ловушек чрезмерной специализации. Но он верил, что в целом структурализм имел вредное влияние на изучение истории. Он сравнивает структурный или “горизонтальный” подход, “который анализирует общество в терминах функциональной или структурной взаимосвязи его частей или аспектов”, и исторический, или “вертикальный” подход, который “анализирует, откуда пришло и куда идет общество”. Он считает, что “каждый здравомыслящий историк согла-

сится, что оба подхода необходимы” (более резкая записка, на обрывке бумаги, говорит, что “различие между повествовательной и структурной историей мнимо”):

“Огромное значение имеет то, чем озабочен и на чем делает акценты историк. Это отчасти, несомненно, зависит от его темперамента, но большей частью — от окружения, в котором он работает. Мы живем в обществе, которое расценивает изменение как изменение прежде всего в худшую сторону, боится его и предпочитает “горизонтальный” взгляд, который подразумевает лишь незначительное приспособление”.

Где-то в другом месте Карр замечает, что “прежний подход консервативен в том смысле, что он исследует статическое состояние, а более поздний подход более радикален в смысле, что он поворачивается лицом к изменениям”:

“Сколько бы Л.Ш. [Леви-Штраус] ни цитировал Маркса для своих целей... я подозреваю, что структурализм — это модная философия консервативного периода”.

В записках Карра можно найти несколько пунктов, касающихся Леви-Штрауса, особенно примечательно интервью в *Le Monde*, заголовком к которому, кажется, оправдывает худшие подозрения Карра: *“L'ideologie marxiste, communiste et totalitaire n'est qu'une russe de l'histoire”* [22].

Далеко идущая критика Карра и в целом его негативная оценка текущего состояния исторических исследований сопровождается положительным утверждением важности истории как собственно дисциплины. Он подчеркнул необходимость “общей истории”, объединяющей правовую, военную, демографическую, культурную и другие отрасли истории и рассматривающей их во взаимодействии друг с другом. Равным образом он настаивал, что история не просто служанка социальных наук, обращающаяся к ним за теорией и снабжающая их своими материалами:

“Я признаю, что многие современные историки мертвы ввиду того, что у них нет теории. Но теория, которой им не хватает, есть теория истории, а не какая-либо посторонняя теория. Сегодня мы

нуждаемся в двустороннем движении... Историк должен учиться у экономистов, демографов, военных и пр. специалистов. Но экономист, демограф и пр., и пр. также умрут, если не будут работать в более широком историческом поле, которое обрабатывает "общий" историк. Проблема в том, что ... исторические теории по природе своей есть теории изменений, а мы живем в обществе, которое желает или неохотно принимает лишь "вспомогательные" или "специализированные" изменения в стабильном историческом равновесии".

Но Карр, конечно, верил, что взгляд историка зависит от его социального окружения; и в Британии 70-х гг. он не мог ожидать, что его совет будет тепло принят кем-либо, кроме меньшинства радикальных и диссидентски настроенных историков:

"Обществу, которое полно смятения и утратило веру в будущее, история прошлого кажется бессмысленной смесью не связанных друг с другом событий. Если наше общество восстановит свою власть над настоящим и свое видение будущего, оно также, в силу того же самого процесса, восстановит свое проникновение в прошлое".

Эти строки были написаны в 1974 году, за несколько лет до усиления в Британии консервативных доктрин и новой уверенности в будущем консерватизма. С тех пор, и со времени смерти Карра появилась альтернатива отсутствию веры в будущее и сопутствующего ему эмпиризма, которые прежде преобладали в умах британских историков. Консервативные политики и историки предприняли замечательные попытки поддержать веру в будущее путем перемещения британского патриотизма в центр исторических задач. Сэр Кейт Джозеф, в бытность свою министром образования, поддержал лорда Хью Томаса, призвав школы уделять больше внимания британской истории и меньше внимания – мировой истории. Профессор Г.Р. Элтон в своей инаугурационной лекции в качестве регюс-профессора современной истории осудил вредное влияние социальных наук на предлагаемые студентам Кембриджа курсы истории и настаивал, что изучение британской истории должно занимать главенствующее место в программах подготовки к экзаменам по истории. Английская история могла бы "показать то, каким образом это общество сумело цивилизовать власть и самоорганизоваться в процессе постоянных перемен"; "эпоха неуверенности, про-

низанная ложной верой и осаждаемая пророками постоянных инноваций, очень нуждается в знании о своих корнях” [23]. Эти события показались бы Карру симптомами больного общества, которое искало утешения в воспоминаниях о славном прошлом и наглядно демонстрировало степень, в которой историки отражают превалирующие в обществе тенденции.

Карр намеревался рассмотреть в новом издании книги кризис исторических исследований в широком контексте социального и интеллектуального кризиса нашего времени. Для этой цели он собрал папку материалов о литературе и искусстве, которые в его первоначальном варианте как отдельные темы не обсуждались. Эта папка включает заметки и по литературе как таковой, и по литературной и художественной критике. Работа прошла лишь предварительную стадию. Его аргумент строился на положении о том, что литература и литературная критика, как и история, естественные и социальные науки, находятся под воздействием или формируются социальным окружением. Среди его заметок бросаются в глаза две контрастирующие друг с другом цитаты. В то время, как Орвелл считал, что “все искусство есть пропаганда” [24], Маркс, сам оставивший много заметок по влиянию общества на искусство, тем не менее, предупреждал во введении “К критике политической экономии”, что “в отношении искусства хорошо известно, что некоторые из его пиков отнюдь не приходятся на пики в общем развитии общества; следовательно, они не соответствуют материальной структуре, являющейся скелетом его организации” [25].

По оценке Карра, оговорки Маркса не касались двадцатого века, который прежде всего характеризовался пессимизмом, бездействием и безнадежностью. В глазах Карра Харди был “романистом мира, который не имел никакого смысла, шел по неправильному пути, не того, что сбился с пути или может быть возвращен на верную дорогу, но мира вневременной неправильности и бессмыслия – отсюда его абсолютный пессимизм”. А.Е.Хаусман заметил: “Я редко писал стихи, разве что по нездоровью” [26], а Т.С.Элиот сочувствующе прокомментировал: “Думаю, что я понимаю это предложение”. “Оба писали **больные** стихи, – едко возразил Карр, – и ни один из них не является бунтовщиком”. В своих заметках Карр серией цитат иллюстрирует отсутствие надежд

у Элиота и его пессимизм. В то время, как сонет Шекспира № 98 воспеваает апрель, "Пустошь" Элиота показывает апрель как самый жестокий месяц года. В "Геронтионе", написанном в 1920 году, Элиот жаловался, что история "обманывает, нашептывая амбиции, направляя тщеславием" [27]. В "Пустоши" показаны толпы рабочих, пересекающих Лондонский мост как мертвецы, а Уинхем Льюис пишет о "полу-мертвых людях", чье истребление ни для кого не будет иметь значения [28]. В своем завещании Кафка, пророк неудач, приказал уничтожить все написанное им; наш мир, как-то сказал он, это "мир плохих настроений бога; вне его много надежды – для Бога, не для нас" [29]. И даже Орвелл, как полагает Карр, "заканчивает той же позицией, что и Элиот, особенно в форме неприязни к низшим слоям – в форме элитизма". Два современных классика в своих знаменательно совпадающих по названию работах "В ожидании варваров" Кавафи и "В ожидании Годо" Бекетта представляют "беспомощное выжидательное бездействие". А писатель, которого Карр описал как "солипсиста-беженца из мира, в который он перестал верить", поклоняется культу Германа Гессе.

В следующей группе заметок Карр пытается определить место литературной критики в социальном контексте двадцатого века. Ф.Р. Ливис "оживил видение Метью Арнольдом класса бесстрастных интеллектуалов, составляющих цвет общества и стоящих над ним". Новая литературная критика "начала с И.А.Ричардса, разделявшего объективные (научные) и субъективные (эмотивные) элементы литературы"; его преемники "пытались уравнивать литературного критика с научным наблюдателем, применяющим по отношению к тексту объективные критерии и игнорирующим все вопросы его создания или контекста". Эти события Карр комментирует следующим образом:

"Формалисты 30-х, 40-х и 50-х гг., структуралисты 60-х и 70-х стремились изолировать литературу как нечто "чистое", заключенное в рамки языка и не загрязненное никакой иной реальностью.

Но литературная критика не может уходить корнями лишь в литературу, поскольку сам критик находится вне литературы и приносит с собой элементы других сфер".

Что касается "лингвистической философии" (неправильное название, поскольку это уход от философии в традиционном понимании термина), как "искусство ради искусства", она не привержена никакой идее [30]. Она неприменима к этике или политике и не принимает во внимание историю: "отсутствует даже идея изменчивости значений слова".

В последних главах нового издания Карр намеревался, в противовес преобладающему пессимизму последних лет, вновь утвердить тезис о том, что прошлое человека все же было историей прогресса, и провозгласить свою уверенность в будущем человечества. В книге "Что такое история?" он отметил, что взгляд на историю как на прогресс, введенный рационалистами эпохи Просвещения, стал наиболее влиятельным тогда, когда британская самоуверенность и власть достигли своей вершины. В двадцатом веке, однако, кризис западной цивилизации привел многих историков и интеллектуалов к отрицанию гипотезы прогресса. В своих заметках к новому изданию он различает три аспекта Эпохи Прогресса: экспансия мира, начатая в 1490 г.; экономический рост, начавшийся, по всей вероятности, в шестнадцатом веке; и экспансия знания, с 1600 года и далее. Елизаветинский период, осознающий экспансию мира, был первой блестящей стадией Эпохи Прогресса. Макалей, величайший из виговских историков, описывал историю как триумф прогресса, достигший своей кульминации в "Билле о реформах" [31]. Из записок Карра ясно, что в новом издании он собирался привести больше доказательств, из медицины и других отраслей, того, что прогресс в решающей степени зависел от переноса приобретенных навыков от одного поколения к другому, и являлся результатом такового.

Со времени первой мировой войны вера в историю как прогресс становилась все более модной. Падение в пропасть отчаяния иногда было несколько преждевременным: "Карл Краус отпраздновал развал Австро-Венгерской империи экстравагантной драмой под названием "Последние дни человечества". Но скептицизм относительно прогресса в прошлом и пессимизм в отношении перспектив на будущее нарастали все сильнее и сильнее на протяжении всего двадцатого века. Поппер, прочитавший лекцию на тему "История наших времен: оптимистический взгляд" четверть века назад, в 1979 году, в одной из своих дальней-

ших лекций заметил: "Так случилось, что я не верю в прогресс" [32]. Некоторым историкам идея прогресса кажется старомодной шуткой: Ричард Кобб писал о Лефевре, что тот был "очень наивным человеком, который верил в прогресс человечества" [33].

Карр верил в человеческий прогресс в прошлом и в то, что "понимание прошлого ... несет с собой более углубленное проникновение в будущее". Таким образом, он согласен с Хоббсом, что "мы делаем будущее из наших представлений о прошлом" [34]. Но он добавлял очень важный комментарий о том, что "обратное почти в той же степени справедливо": наше видение будущего влияет на наше восприятие прошлого. Велика сила афоризма, которым Эрнст Блох завершает *Das Prinzip Hoffnung*: "подлинный генезис не в начале, а в конце" [35].

Во времена сомнений и отчаяния Карр считал, что для него как для историка было особенно важно проанализировать и сформулировать свое собственное понимание настоящего и видение будущего. В течение сорока предшествующих лет он спорил, что утопия и реальность были двумя существенными сторонами политологии, и что "здоровая политическая мысль и здоровая политическая жизнь могут быть лишь там, где обеим находится свое место" [36]. В промежуточный период он приобрел репутацию строгого реалиста. Но в кратких биографических мемуарах, которые он подготовил за несколько лет до своей кончины, он сказал: "Возможно, мир разделен между циниками, которые не видят смысла ни в чем, и утопистами, которые выводят смысл вещей из прекрасного, недоказуемого предположения о будущем. Я предпочитаю последнее". Запись в одной из папок, озаглавленной "Надежда", гласит: "Функция утопии заключается в том, чтобы сделать мечту конкретной... Утопия примирит индивидуума со всеобщими интересами. Истинная утопия в отличие от праздного (немотивированного) оптимизма".

По мнению Карра, два великих исследователя британского капитализма, Адам Смит и Карл Маркс сочетали глубокое понимание общества с лежащей в его основе утопией:

"А.Смит, который написал "Теорию современных чувств", в "Богатстве наций", изолировал предрасположенность к "бартерным и об-

менным отношениям” как основную движущую силу действий человека”.

“Это было гениальное проникновение в суть не только человеческой природы как таковой, но в характер общества, которое созревало в Западной Европе (и в США), и как таковое оно способствовало его созреванию”.

“То же самое можно сказать о мнении Маркса, что капитализм развалится под тяжестью отказа рабочих терпеть ту эксплуатацию, которой они подвергаются”.

“Но утопия Смита о мире невидимой руки, и диктатура пролетариата Маркса показали свою изнаночную сторону как только была предпринята попытка реализовать их на практике”.

Уже в 1933 году Карр ссылаясь на Маркса как на человека, “претендующего на звание наиболее дальновидного гения девятнадцатого века и одного из наиболее успешных прорицателей истории” [37]. Его папки под заглавием “Марксизм и история”, “Марксизм и будущее” содержат много выдержек из Маркса, Энгельса, Ленина и их основных последователей, из которых видно, что он намеревался построить свою собственную оценку настоящего и будущего на тщательном анализе Маркса и марксизма. В нескольких из своих недавних работ он дал понять, что, как и его друг Герберт Маркузе, он верил в то, что “сегодня на Западе пролетариат – в том смысле, в каком этот термин понимал Маркс, организованные промышленные рабочие – сила не революционная, а возможно, даже контрреволюционная” [38]. Он заметил, что скептицизм в отношении неспособности пролетариата править имел своим последствием то, что “Троцкий в конечном счете впал в пессимизм” [39], и что негативная оценка пролетариата лежала в основе пессимизма Маркузе:

Разум и революция. Власть отрицания воплощена в пролетариате. Заинтересован в освобождении отдельных личностей от репрессивного общества – Фрейд.

[У Маркузе] **Эрос и цивилизация** – сомнение в способности пролетариата создать нерепрессивное общество.

Советский марксизм. Советская история продемонстрировала неумение русского пролетариата создать нерепрессивное общество – неумение из-за провала пролетариата в развитых странах.

Одномерный человек показывает, что пролетариат поглощен индустриальным обществом так, что общество становится в принципе неизменным.

Результатом является тотальный пессимизм – уход левых от реальности: “Нет почвы, на которой теория и практика, мысль и действие могут встретиться” [40]. В целом Карр принимал подобную критику Маркса, но он не делал таких пессимистических выводов. В своих автобиографических мемуарах он объявил:

“Я действительно не могу предвидеть для западного общества в его нынешней форме никакой иной перспективы, кроме упадка и разрушения, необязательно завершающихся драматическим финалом. Но я верю, что новые силы и движения, чьи очертания мы еще не можем угадать, зарождаются под поверхностью, здесь или где-нибудь еще. Это моя недоказуемая утопия... Я наверное должен назвать ее “социализмом”, и в такой мере я марксист. Но Маркс не определил содержание социализма, кроме как в нескольких утопических фразах; не могу сделать этого и я”.

Как же тогда сам Карр оценивал развитие и разрушение капиталистической системы? Какие “новые силы и движения” он обнаружил? Часть его ответа приводится в его черновых набросках, озаглавленных “Марксизм и история”, которые, как оказалось, были написаны приблизительно в 1970. Они не завершены, и несомненно, он бы кардинально пересмотрел их до опубликования, но тем не менее, они передают дух взглядов Карра на настоящее и будущее:

“За последние пятьдесят лет форма мира неузнаваемо изменилась. Бывшие колонии западноевропейских держав — Индия, Африка, Индонезия — полностью утвердились в своей независимости. Из стран Латинской Америки только Мексика и Куба встали на путь революции; но во всех остальных местах развитие идет в направлении более полной независимости. Наиболее впечатляющими событиями этого периода был подъем СССР — бывшей Русской империи — и позже Китая до уровня мировых держав, стран мировой значимости. Чувство неопределенности, вызванное этими переменами, последствия которых нам еще предстоит испытать в будущем, резко контрастирует с относительной стабильностью и безопасностью мира девятнадцатого века.

Нынешнее представление о новом обществе рождается как раз из этой атмосферы неопределенности и уязвимости".

"То, что Русская революция и после нее Китайская и Кубинская революции явно базировались на учении Маркса, является фактом чрезвычайной важности. Маркс был самым могущественным предсказателем упадка и развала капиталистической системы девятнадцатого века, находящегося в стадии расцвета в тот период, когда Маркс это предвидел. Естественно, что те, кто хотел бросить вызов этой системе и порадоваться ее разрушению, апеллировали к авторитету Маркса. Также естественно то, что их представления о новом обществе, которое придет на смену капитализму девятнадцатого века, также черпались из марксизма. Эти представления всегда отчасти утопичны; работы Маркса о будущем обществе были немногочисленны и часто утопичны по характеру. Некоторые из его предсказаний не оправдались или оказались несостоятельными, и это уже привело к спорам и смятению в рядах его последователей. Но силу его анализа отрицать нельзя; и любая картина будущего общества, которую можно нарисовать, какой бы спекулятивной она ни была, обязательно будет содержать большую долю концепций марксизма".

"Маркс был прорицателем продуктивности, индустриализации как пути достижения продуктивности, модернизации посредством применения наиболее развитых технологий. Его труды, начиная с "Коммунистического Манифеста", полны восхваления достижений капитализма, которые высвободили процессы производства от феодальных оков и привели в движение во всем мире современную, технически развитую, экспансивную экономику. Но Маркс считал, что он продемонстрировал своим анализом, что буржуазный капитализм, основанный на принципах частного предпринимательства, своим собственным успехом ковал новые цепи, которые приостановят дальнейший рост производства, отберут контроль из рук буржуазного капиталиста и заменят его некоей формой общественного контроля, осуществляемого самими рабочими. Только так можно будет поддерживать и интенсифицировать рост производства. Одна из немногих предложенных Марксом картин будущего коммунистического общества представляла собой "бьющие ключом родники изобилия".

"Неудивительно, что в мире, где большие массы людей все еще не имеют даже элементарных материальных благ современной цивилизации, эти доктрины во многом сформировали популярное видение ново-

го общества. Неудивительно также и то (хотя это противоречит ожиданиям самого Маркса), что эти доктрины оказались наиболее убедительными не в развитых странах, где эти люди в прошлом наслаждались великими достижениями буржуазного капитализма и где было трудно поверить, что потенциал системы уже исчерпан, но в отсталых странах, где буржуазный капитализм если и появился, то как чуждая и преимущественно репрессивная сила. Русская революция произошла в технически отсталой стране, где только-только началась буржуазно-капиталистическая трансформация экономики и общества; ее первой функцией, как сказал Ленин, было “завершить буржуазную революцию” прежде, чем она перейдет в социалистическую. Со времени второй мировой войны революция распространилась на страны, где буржуазная революция еще не началась. Видение будущего, которое, перешагнув через теперь устарелую буржуазную революцию, достигнет индустриализации и модернизации экономики и более высокой производительности труда, которая им сопутствует, через какую-либо форму социального и планового контроля производства, доминирует сегодня над всем миром, находящимся за пределами Западной Европы”.

Карр продолжал, что “политические аспекты этого видения остаются, однако, туманными и размытыми. Марксизм помогает мало. Концепция общества, контролируемого рабочими, в России, где пролетариат был немногочисленным, оказалась малоуместной; она была еще менее уместна в менее развитых странах, где пролетариата вообще нет”. Тем не менее, революция в этих странах могла привести к концу капиталистической системы и реализации “недоказуемой утопии” Карра:

“Я думаю, нам следует серьезно рассмотреть гипотезу [объявил он в сентябре 1978], что мировая революция, первой стадией которой была революция большевиков, и которая завершит падение капитализма, окажется бунтом колониальных народов против капитализма в облике империализма” [41].

ПРИМЕЧАНИЯ

1. J.L.Borges, *A Personal Anthology* (1972), с. 32–33.
2. G.Lukacs, *The Historical Novel* (1962), с.176, 182.
3. Edward Gibbon, *Essai sur l'étude de la littérature* (1761).
4. Gibbon, *Decline and Fall of the Roman Empire*, Бury (ред.), (1909), гл.9, с.230.
5. G.Vico, *Principj di scienza nuovo* (1744), книги I, IX и X, переведенные как *New Science of G.Vico* (1968), парагр. 137, 321.
6. Этот отрывок, машинописью в его заметках, имеется в эссе Карра о Лукаксе в *From Napoleon to Stalin* (1980), с. 250.
7. M.I. Finley (ред.), *The Greek Historians* (1959) Введение, с.4, 6.
8. G. Macaulay, *Works* (1898), viii, 431 (из эссе о сэре Джеймсе Макинтоше).
9. P. Feyerabend, *Against Method: Outline of an Anarchistic Theory of Knowledge* (1975), на основании "богатого материала, который предоставляет история", делает вывод, что при любых обстоятельствах и в любые времена можно защищать лишь один принцип: "годится все" (с.27).
10. "An Essay on the Causes Affecting Minds and Characters" в Montesquieu, *The Spirit of Laws*, ред. D.W.Carruthers (1977), с.417.
11. См. A.de Tocqueville, *De l'ancien regime* (пер. S.Gilbert, 1966), II, III, особенно с. 160.
12. A. Huxley, *Do As You Will* (1929), с.101.
13. S.Freud, *Civilization and its Discontents* (1975), с.32; в другом из набросков Карр отметил, что "бессознательное Фрейда индивидуально; оно не имеет ничего общего с коллективной бессознательностью Янга".
14. *Grundrisse* (Berlin, 1953) с. 395–396.
15. *Works* (1898) vii,6.
16. Л.Толстой, *Полное собрание сочинений*, xv (1955) 279.
17. Письмо Самарину, от 10 января 1867 г., в *Письмах Толстого*, Р.Ф.Кристиан (ред), i, (1978) 211.
18. Письмо Волконскому, 4/16 декабря 1899, *ibid.*, ii, 585.
19. Это была ссылка на Sebastian Haffner, *The Meaning of Hitler* (1979).
20. *From Napoleon to Stalin* (1980), с. 262–263 (интервью с Перри Андерсеном, сентябрь 1978).
21. *A History of Soviet Russia* (1978) xi, 448.
22. *Le Monde*, 21–22-января 1979.
23. G.R. Elton, *The History of England: инаугурационная лекция, прочитанная 26 января 1984* (Кембридж, 1984), особенно с.9–11, 26–29; см. также его атаки на историю семьи в *New York Review of Books*, 14 июня 1984.

24. G.Orwell, *Collected Essays, Journalism and Letters* (1968) i, 448 (первоначально появились в *Inside the Whale* (1940)).
25. Переведено в К.Марх, *The German Ideology*, С.Ж.Артур (ред.) (1970), с.149.
26. А.Е. Housman, *The Name and Nature of Poetry* (1933), с. 49.
27. Т.С.Еliot, *Collected Poems 1909—1962* (1963), с. 40.
28. D.B.Wyndham Lewis, *Blasting and Bombardiering* (1937), с.115.
29. Max Brod, *Kafka: a Biography* (1947), с.61.
30. См. J.Sturrock, *Structuralism and Since* (1979).
31. *Works* (1898) xi, 456—458, и примеры 489—491; но Карр также спрашивает: “Совместимо ли видение Макалеем новозеландца (*Essay on Ranke’s History of the Popes*) с верой в прогресс?”; Макалей представлял будущего новозеландца стоящим на сломанных перилах Лондонского моста, рисуящим руины собора Святого Павла, но в том же самом параграфе говорит о великом будущем Нового Мира (Macaulay, *Essays*, избранные и предваренные введением Г.Тревор-Рупера (1965), с. 276).
32. *Encounter*, ноябрь 1979, с.11; в этой лекции Поппер тем не менее представляет себя оптимистом.
33. *A Second Identity* (1969), с.100.
34. Thomas Hobbes on Human Nature, *Works* (1840) iv, 16.
35. Ernst Bloch, *Das Prinzip Hoffnung* (1956) iii, 489.
36. *The Twenty Years’ Crisis, 1919—1939* (1939).
37. *Fortnightly Review*, март 1933, с. 319.
38. *From Napoleon to Stalin* (1980), с. 271.
39. См. Knei-Paz, *The Social and Political Thought of Leon Trotsky* (1978), с.423.
40. Н. Marcuse, *One-Dimensional Man* (1968), с.11—12.
41. *From Napoleon to Stalin* (1980), с.275.

Эдвард Галетт Карр

ЧТО ТАКОЕ ИСТОРИЯ?

Рассуждения о теории истории и роли историка

Перевод с английского *Б. Д. Джоламановой*

Редактор *Л. Степанова*

Художественный редактор *Б. Жапаров*

Технический редактор *С. Жапарова*

Корректор *Г. Емелина*

Верстка *Н. Шевченко, Ж. Курмангалиевой*

ИБ № 216

Сдано в набор 5.06.97. Подписано в печать 24.07.97. Формат 70x108/32. Бумага офсетная. Гарнитура "Таймс". Печать офсетная. Усл. печ.л. 9,1. Усл.кр.-отт. 9,36. Уч.-изд.л.8,51. Тираж 1000. Заказ 781. Бесплатно.

Издательство "Жеті жарғы" Министерства юстиции Республики Казахстан, 480013, г. Алматы, пр. Абая, 10.

Набор и верстка выполнены в компьютерном центре типографии "Кодекс".

Республиканское производственное объединение "Кітап" Национального агентства по делам печати и массовой информации Республики Казахстан. 480009, г. Алматы, пр. Гагарина, 93.

Бесплатно

E. H. Carr



*What
is
history?*

ISBN 5-7667-4103-0

Что такое история?

Э.Г.Кэпп